



Евгений
Бабушкин
Эноб.

БИБЛИЯ БЕДНЫХ

Бабушкин умеет переживать чужую боль и говорить об этом без обличительной пошлости и рваного воротника.

Он пишет документы обвинения и надежды. Пронзительно тает снег в твоём протестно сжатом кулаке...

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ-МЛАДШИЙ, ПИСАТЕЛЬ

18+

Ангедония. Проект Данишевского

Евгений Бабушкин

Библия бедных

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бабушкин Е. А.

Библия бедных / Е. А. Бабушкин — «АСТ»,
2017 — (Ангедония. Проект Данишевского)

ISBN 978-5-17-101908-2

О чем шушукаются беженцы? Как в Сочи варят суп из воробья? Какое мороженое едят миллиардеры? Как это началось и когда закончится? В «Библии бедных» литература точна, как журналистика, а журналистика красива, как литература. «Новый завет» – репортажи из самых опасных и необычных мест. «Ветхий завет» – поэтические рассказы про зубодробительную повседневность. «Апокрифы» – наша история, вывернутая наизнанку. Евгений Бабушкин – лауреат премии «Дебют» и премии Горчева, самый многообещающий рассказчик своего поколения – написал первую книгу. Смешную и страшную книгу про то, как все в мире устроено.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101908-2

© Бабушкин Е. А., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Ветхий Завет	5
Огород небесных мук	5
Сказки из-под земли	8
Девочка, которая убила Курта Кобейна	30
Песня про грязный дождь	32
Осень, 138	35
Стереометрия	37
Азбука большого города	39
Ars dolendi, наука скорби	55
Песенка песенок	60
Красные белые	74
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Евгений Бабушкин

Библия бедных

Ветхий Завет

Огород небесных мук

Весна Володи. Глад

В конце весны истлел последний самолет. Город отрезало. Вдоль моря встала очередь за хлебом. Взял дед лопату, сказал: идем. И Володя пошел. И все пошли.

Раньше люди летали за море к другим городам. Покупали там всякие вещи. Дед привозил тушенку, сахар, чай, петуха на палке. Теперь в пустом аэропорте висел полосатый носок – указатель ветра. Валялся винт.

Взлетную полосу уже взрыли. Над ямами гнулись дети и старики. Один упал.

– А кого понесли?

– Никого. Копай.

– А куда понесли?

– Никуда. Копай.

– А зачем понесли?

– Низачем. Копай. Жди цветочков синих.

Впереди было девяносто дней ледяного лета. Володя с дедом рыли ямы и клали туда клубни. Другие тоже рыли и клали. Картофель сажать было поздно, но больше сажать было нечего.

– Жди цветочков. Если не засинеют, положу камней в пиджак и шагну в море, а ты береги крупу и помни лес. В июле морошка. В августе черника. В сентябре брусника. Сладкий будет год.

В июле побило морошку, в августе побило чернику, в сентябре побило бруснику. Но картофель взошел. Все выжили. И Володя выжил.

Это правда было.

Это был я.

Лето Лены. Брань

В земле яма, в яме – деревня, в деревне – дом. У дома стояла совсем черная девочка Лена. Она ездила вдаль, за границу, и там загорела так, что была как ночь. У нее были глаза и ноги, как у взрослой. Мальчишки встали кругом и боялись тронуть.

– Там виноградины – такие, – сказала Лена и сложила ладони лодкой.

– Там помидорины – такие, – сказала Лена и замахнулась на луну.

– Там арбузины – такие, – и показала что-то размером с мир.

Осенью в яму стекала грязь. Зимой грязь леденела. Весною на лед выходили меченые гуси со рваными дырами в лапах, и корка трескалась. Летом в яме стоял пар. Мальчишки потели полуголые. Старший сказал:

– Та ни. Мабуть брешешь.

Лена топнула ногой. Где-то грохнуло, и черное небо зарозовело. Дети стали слушать канонаду.

– А у нас бомби – ось таки! – сказал старший.

И все засмеялись. Грохотало часто, но далеко. Скоро обстрел закончился. Запели кузнечики. Вышла бабушка, покричать-поплакать:

– Астры! Астры!

Растоптали дети огород.

Осень Олега. Мор

Прадед Олега сгорел в настоящем танке. Дед работал на танковом заводе. Папа – на игрушечной фабрике, делал танки один к сорока. Олег пока не работал. Он был ребенок. Он заболел легко, но непонятно, и его отправили в деревню к дяде и двоюродным сестрам. Одна потом попала в секту, а вторую убили. А пока все сидели на веранде и пили чай.

Вздогнуло в окне серебряной изнанкой листьев и стало ясно: осень. Дядя с трудом завелся и поехал обгонять ветер. Он был хороший садовод, но пил много водки и давил зверей для смеху. Он возвращался всегда веселый с тьмой и шерстью на колесах.

Люди и растения вырождаются. Сначала роза пахнет розой, потом теряет имя. Черешня плодоносит дюжину лет, а на тринадцатый год – конец: обтянутая кожей косточка.

В июне старая черешня не принесла плодов. Ее терпели до сентября. Сестры играли с ней: младшая теребила ветви, старшая вбивала гвозди в ствол. Но дядя взял топор, срубил, смеясь, черешню в три удара, подвел детей к змеистому стволу, дал пилу и сказал: пилите. И ушел.

– Ты пили, – сказала одна сестра.

– Ты пили, – сказала другая.

– Мы девочки.

– Мы смотреть будем.

– Потом скажем, что плохо пилишь.

– А ты хорошо пили.

– Старайся.

– Там цветные бусинки внутри ствола.

– Бусинки.

– Будешь быстро пилить – увидишь бусинки.

– Будешь медленно – их воздух растворит.

– Не опоздай же.

Олег старался. Он пилил, как мог. Он распилил ее на дюжину частей, но бусинок не было. Не было никаких бусинок. Олег упал у останков черешни, сестры закричали, как птицы. Дядя поднял Олега и понес в дом. От него пахло мертвыми, и Олега стошнило с дядиных рук. Целую ночь катался Олег по кровати: опоздал, дурак, опоздал. А после целую жизнь.

Зима Зины. Смерть

Тузик жил звонко, но недолго. Сначала прыгал выше звезд, потом оказался сукой и оценился. А перед смертью всех заразил лишаем. «Я красивая? Красивая?» – лысая Зина ходила кругами. Зине было четыре. Тузику тоже. Он умер, как артист. Брызнул кровью, лег посреди двора, и первая снежинка растаяла на резиновом носу.

Земля промерзла. Рыть не вырыть. Продолбила бабушка ломом яму. Там, в огороде, уже лежали Дружок и три кота. Они давно стали морковкой и луком. Там Зинина мама, когда

была как Зина, похоронила больную крысу, прыгнувшую с печки. Теперь с мамой тоже стало плохо. Зину забрала бабушка, мама кричала из телефона, а Зина ходила в капоре на бритом черепе и задавала вопросы:

- А зачем могила?
- А чтобы ты спросила.
- А зачем спросила?
- А пусть лежит.
- А зачем лежит?
- Огород удобряет.
- А зачем огород?
- А морковь, лук.
- А зачем?
- Съедем!

И бабушкин зуб сверкнул, как вся вечность в один день. Но Зина не испугалась.

- А зачем съедем?
- Чтобы выжить.
- А выживем?
- Да.

Сказки из-под земли

Кабаре «Кипарис»

В начале было так: все решили зарыться, чтоб их не убили. Не знаю, как там за морями, а тут бомбоубежища просты: двор, во дворе курган, в кургане штуки всякие, а сверху снег и собаки. Шли годы, было много малых войн и ни одной большой, курган стал не нужен, его расковыряли. А потом пришел один человек.

Ты дурак, ты глянь вокруг: тысяча домов по тысяче квартир, летом смрад, зимой хлад, пьяные примерзают струей к бетону. Так говорили ему, а он отвечал: ага. Только тут и только сейчас я возведу лучшую кофейню в мире.

Итак, вначале была земля, и дыра в земле, и светлое пятно у входа в бывший бункер: лампочка в сто свечей разгоняла тьму. Потом из дыры запахло кофе.

И человек сказал:

– Я назову кофейню «Кипарис».

Когда у места только появилось имя, они пришли. Один черный – не как ночь, но как вчерашняя кровь на асфальте. Другой белый – не как снег, но как обломок зуба после драки. Третий просто, штаны в полоску.

– Кипарис – на пидарас похоже, – сказал третий и достал пистолет. Я там не был, но говорят, из дула дало льдом, будто ствол зарядили открытым космосом. Не хотел бы я получить такую пулю.

А у человека хобби: он ломает кости. Хвать – и пальца нет. Хвать – и нет запястья. В конкурсе костоломов человеку бы дали все медали. Бункер вздрогнул, что-то хрустнуло. Человек встал над убийцами и сказал:

– Кипарис посвящен Плутону, то есть покойникам, но не вам, пока еще не вам. Кипарис убил оленя, а после одеревенел, чтоб горько плакать, как вы сейчас, как вы. Из кипариса сколотили ковчег, чтоб все спаслись, и вы тоже будете спасены. Кипарис, наконец, – это просто красивое дерево. И звучит хорошо.



Когда убийцы уползли, кофейня стала кабаре, потому что так звучит еще лучше. А потом человек нашел меня и просквозил меня взглядом от пуза до позвоночника.

Я, как и все, жил в одном из этих домов. На окраине окраин, в спальном районе, без надежды на пробуждение.

– Стой, – сказал человек. – Мне нужны герои.

– Ну, какой же я герой. Я наоборот. Пустите, я вообще за пивом.

– Какой-никакой, – сказал человек. – И отныне ты будешь только кофе.

Из остатков колючей проволоки мы сплели наши буквы. Старыми гирляндами связали их в слова. Замигало у входа: «Кабаре «Кипарис». Рядом повесили белый лист – афишу. В ней было про музыку, смех, страдание и кофе на халяву – каждый вечер.

Зашли первые гости, самые отчаянные: ну, светится из-под земли чего-то, как не зайти.

Я сел, сосчитал их глаза, помолчал, покачал ногой, и первое слово отразилось от голых стен. Послушайте сказку, люди мои, люди.

Понедельник. Сказка про арифметику

Каждый за себя, один Бог за себя и за того парня.

Жили три брата. Вместе учились, вместе не выучились. Иван клал дороги, Матвей строил дома, а Марк продавал телевизоры, чтобы люди не видели эти дороги и эти дома. В детстве все хотели ловить стрижей и прыгать по луне, но вышло как вышло.

Иван жил в общежитии, Матвей черт знает где, Марк снимал дыру в пригороде. Они плелись по жизни от лета к лету и не плодились, потому что женщины не рожают от бездомных.



Дом-то у них был, гнилая двушка в центре, но там жила старая мать, запивала снотворное водкой и кидала бутылки в распахнутое окно, прямо в черемуху. Детей она не любила, а любила зато больного кота, который кричал, как человек, и ел занавески от зависти ко всему живому и неживому.

Когда стало совсем никуда, братья собрались у постели.

– Ну что, подонки. Скоро сдохну. Квартира – вам. Разбирайтесь, как хотите. Чтоб вы все страдали, как я страдала. Пойди ко мне, сынок! – сказала она коту, но тот не стал.

Вскоре мать положили в ящик, ящик в землю, выпили водки, и больше никто никого не вспомнил.

Квартира была большая, но нет, не для троих. Братья молча разошлись по своим углам к своим женщинам.

– Не добудешь дом – дам студентам, – сказала женщина Ивана. – На меня смотрят, я ничего. Прямо у тебя на глазах, драные будущие юристы ко мне придут.

– Мне бы ребеночка! – сказала женщина Марка. – У меня-то никак, а у него все выйдет.

– Позвони Гайке, – сказала женщина Матвея, самая злая и бесплодная, потому что у нее никого не осталось и ни одна юбка ни к чему не подходила.

Смерть не смерть, а что-то над нами вьется вроде птички. Гайку посадили еще ребенком – украл ведро какой-то дряни. Потом в колонии кого-то зарезал и вышло здорово. Потом он стал ученый и уже не попадался. Говорили, Гайка убивает незадорого и даже бесплатно, если человек плох. А если не плох, то может и пощадить, потому что во всем должен быть порядок.

– Здравствуй, Гайка, – сказал Матвей. – Мне бы, это самое, знаешь...

– Знаю. Кого?

– Братьев.

– Сколько дашь?

– Машину. Больше нечего.

Настала зима, и двушка стояла пустая, два на три не делится. Братья торчали кто где и лишь раз поспорили, кто заплатит за свет и за воду и вынесет кошачий труп. Однажды раздался звонок, и Матвей услышал в трубке треск.

– Встретимся, – сказал Гайка. – За парком. На углу. У будки. Где тень всегда.

Матвей собрался. И пока шел, думал о потолках. Чистишь, грунтуешь, пока не высохнет, ждешь, и дальше, и дальше. А когда пришел, встретил братьев своих в одинаковых дутых куртках.

– Вы тут, – сказал Гайка, – потому что во всем должен быть порядок. Знаете, почему я Гайка? Потому что верую в резьбу. Вы трое попросили меня убить друг друга. Ты, Матвей, обещал машину. Ты, Марк, скопил денег. Ты, Иван, старший и бедный, обещал жену, когда пожелаю. Но я ничего не желаю, я прихожу и беру, что положено. Мне не надо много. Мне надо, чтобы по правилам. Если я убью всех, мне никто не заплатит. Я пока посижу в снегу, а вы решите, кому тут жить, а кому помереть.

Братья стояли на холоде. Иван дул на пальцы, Матвей думал о потолках, а Марк застегивал и расстегивал куртку, глядя в тень.

Так до сих пор и не решили. Так они и стоят до сих пор. Так и стоят.

Горячие гвозди

Не знаю, как там за морями, а тут сегодня, как вчера. Очнулся, полежал, погрыз подушку, если Бог дал подушку, перевернулся, пригляделся к обстановке, что-то такое подделал, и вот уже снова ночь.

Так было и со мной. Так и со мной было.

Но из ящиков от чего-то когда-то смертельного мы сколотили барную стойку. И каждое утро вставал за нее человек и варил кофе. Быстро. Вода сама становилась густа и черна. Приходили какие-то грязные люди, брали чашечку. День ото дня их было больше.



Потом пришла Нинель.

– Три вопроса, – сказала Нинель. – Первый. Мука и дрожжи?

– Найдем, – сказал человек.

– Второй. Вы этих придурков, черных и белых, тупых и слепых, несмотря ни на что – любите?

– Ну, в общем, да, – сказал человек.

– Третий. При каких обстоятельствах вы привяжете женщину к стулу?

– Никогда, – сказал человек, что-то в нем дрогнуло, и он из большого стал маленьким.

Но лишь на миг.

Нинель. Длинная женщина с грудями, как два солнца. Кто пытался погреться, получал по рукам.

– Что ты сделал для мира, чтобы меня коснуться? – говорила Нинель.

Страшная женщина с глазами, как фары катафалка на встречной. Нинель пришла, и в кабаре запахло пирожками. У нее были шрамы повсюду и тихая хромота, но где-то в прошлом, где ее мучили, она научилась печь.

Ее пирожки сияли. И люди, отломив кусок, сидели ошалелые, забыв, как тосковать и материться.

А потом к нам снова пришли, и снова их было трое. Без оружия. Но с тремя чемоданами, полными пустоты. Одинаковые, как прутья решетки. С голосами, как звон металла о металл. Вслед за тремя убийцами три чиновника к нам пришли. Первый достал папку толщиной с нож для разделки туш. Второй достал карандаш – иглу хирурга. Третий стал задавать вопросы и не слушать ответы:

– Вы кто? Откуда? Сколько вас? Зачем вы здесь? И почему? Вы понимаете разницу между «зачем» и «почему»? Понимаете? А? Так почему? И без разрешения? А? Не слышу. Что же вы? Как же вы? Эх, вы. Надо же. Ну, надо же. Надо. Надо. Надо, сами понимаете... Надо дать.

И они протянули ладошки.

И что-то было в этой троице такое, что стало ясно: отдадим им и деньги, и силы, и время, а если останутся силы и время сделать детей, то и дети наши будут у них в долгу.

Но вошла Нинель с подносом сияния, и все отбросили тени, а человек – такую, что потолок бывшего бункера стал черней ночного неба в дождь.

– Нинель, дай им пирожок, – сказал человек.

Трое взяли по пирожку. Надкусили. И дрогнули. Что-то будто в них переменялось – будто не было всех этих лет адаптации к переменчивым обстоятельствам, будто они в результате не конченные козлы и одинаковое ничто, будто что-то в них осталось нормальное.

– Это вкусные пирожки, с мясом, – сказала Нинель. – Пока не с вашим. Но будут с вашим, если придете еще хоть раз.

Трое одинаково поперхнулись и приготовились выпустить пустоту из чемоданов. Тогда Нинель разломила пирожок – он был полон гвоздей. Разломила другие – повсюду были гвозди.

– Бывает, пирожок попадает в тебя. Бывает – ты в пирожок. Бывает, начинка меняет состав по дороге из рта в желудок. Звучит антинаучно, но спорю на тонну лучшей в мире муки, что вы не станете рисковать.

Трое ушли и больше не приходили. Я взял с подноса пирожок и осторожно надкусил, ожидая, что сталь уколется небо. Но в рот пролилось яблочное повидло – вкус прошлого.

– Нинель! Милая Нинель! Вот бы твои пирожки подать этим важным подонкам на встрече по мирному урегулированию говна, которое они сами же и развели. Вот бы, а?

– Думаешь, я не пыталась? Кормлю-кормлю, а не едят! Просто не едят. И ты много не ешь. Не бывает толстых сказочников.

Я втянул щеки, чмокнул, цокнул и начал новую сказку.

Вторник. Сказка про блины

Бедному горе, безрукому каша без ложки, а одинокому полторы матрешки. Правда-неправда, а что-то в этом на правду похожее.

Боря возник откуда-то с востока, из так себе города – куча мусора у океана. Он уехал, и там почти ничего не осталось. Да и не было почти ничего.

Там, у океана, он танцевал лучше всех в школе, ему купили туфли, повезли выступать в райцентр, ему хлопало начальство – старые, усталые воры.



Боря танцевал, закончил школу и танцевал, начал курить и бросил, и танцевал, и при-танцовывал, сдавая экзамены на юридический (вальсом не проживешь, решили родители), он танцевал несколько лет и не помнил ни строчки законов, а потом его поймала какая-то шпана, что-то в голове у него хрустнуло, и еще были сломаны три позвонка.

Резких движений теперь нельзя, можно умереть, сказали врачи. Родители, чтобы не смотреть в его распахнутые горем глаза, отправили сына в большой город и сняли ему одно-

комнатную квартиру на окраине. Второй шанс, путевка в жизнь, ну и что там еще говорят в таких случаях.

Место было на исходе леса, социальный район номер двадцать девять называли его, а жил Боря на улице Героев, дом один.

В городе было мало работы. Можно было таскать что-то тяжелое. Или торговать чем-то никому не нужным. С тяжестями Боря теперь не мог, а торговли и без него хватало.

Здесь еще недавно были пустырь и подлесок, дрались мужчины и кричали женщины, одичалые дети видели белку и хотели ее сжечь. Теперь были новые, но уже обшарпанные дома, одинаковые, для бедных.

Многие заселились и даже успели спиться в новых условиях.

Время стояло. На Борю смотрели с вежливой тоской, как на приличного, у которого шансы есть еще, все-таки молодой и в бальных туфлях.

От одиночества Боря стал печь блины. Хорошие, с привкусом палтуса и наваги, что в них ни клади. Пек и ел сам, скучая по горизонту.

Он бездействовал, гулял вдоль леса и вглубь его, и однажды утром нашел женщину – кто-то ее изнасиловал, прикончил, женщина лежала разбитым затылком вниз, ноги присыпаны листьями, как будто ее похоронили неглубоко и заживо, и она наполовину откопалась.

Боря осторожно – от резких движений можно умереть – наклонился и спросил:

– Ты что?

Пригляделся и увидел, что красивая, улыбается и не дышит.

– Увидимся, – сказал Боря и пошел домой.

В городе не было времен года, только времена суток, можно было забыться зимой и очнуться осенью, а в окне ничего не менялось.

Однажды Боря проснулся от боли, полежал, послушал, как за тонкой стеной сосед смотрит повтор вчерашнего фильма и плачет. Боря встал осторожно, испек стопку блинов, положил в коробку из-под настольного хоккея и медленно пошел в лес. Женщина была там – красивая, улыбалась и не дышала.

– Я поем, – сказал Боря и сел на землю, – я, знаешь, пеку. Раньше еще танцевал, но теперь танцевать нельзя. Ты мертвая, конечно, и прошлогодний листок на щеке, но я поем с тобой блинов. Позавтракаем.

Боря вообще редко говорил, но с мертвыми проще, чем с живыми.

Иногда Боре звонили родители. Они стояли где-то там вдвоем у телефона и не знали, что дальше.

– Все хорошо! – говорил Боря, – у меня порядок. Это город больших возможностей. Мне немного одиноко, но так всегда бывает на новом месте. Работу я скоро найду. Дайте послушать океан. А я вам дам послушать лес.

– Только не вздумай танцевать, – говорили родители, – Голова не болит?

– Ничего у меня не болит.

– На2 тебе океан.

Так он и ходил, проедал потихоньку чужие деньги, вечный школьник на вид, и не сказать, что четверть века. Его не боялись голуби и вороны, и дети со злыми взрослыми лицами не трогали его.

– Ты понимаешь, Наташа (он знал, что вряд ли Наташа, но надо было как-то назвать), я, в сущности, и не пробовал жизни. Учился на юриста и танцевал, пока мог, а может быть, я моряк.

Он сел поближе к ней. Ударил неприятный запах. Боря постарался дышать пореже и не смотреть Наташе на лицо. Близкие люди могут быть не в форме, но не надо обращать на это внимания.

Однажды Боря пришел без блинов, но с цветами – на остановке пьяница торговал фиалками и отдал ему за так последний букет.

Женщины не было видно, место преступления обступили люди, сыщик суетился в гнилой листве.

Боре сказали уходить.

– Пустите меня к ней! – сказал Боря. – Я к ней пришел.

– Следственные действия. Идите на хуй, – сказали ему.

– Вот доказательство – цветы! Я к ней! Я юрист! Я учился на него! Вы нарушаете закон! Она, наверное, Наташа! Не смейте делать ей больно. Вы всем больно, только не ей, я умру за нее. Я сейчас буду танцевать.

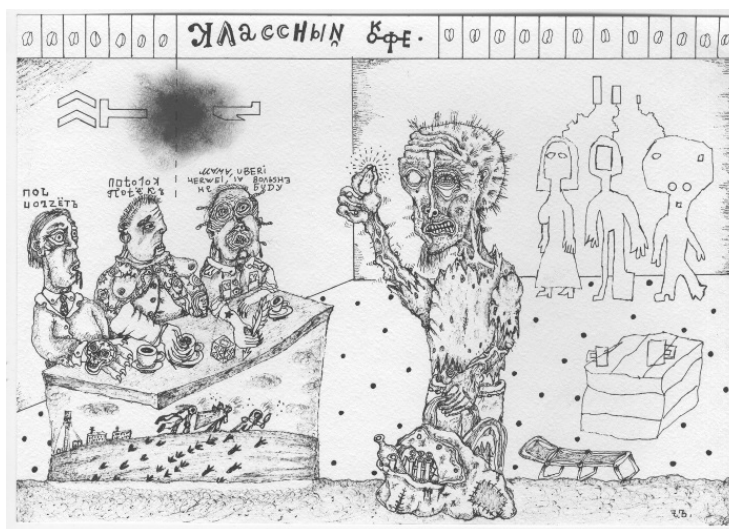
Он дернулся куда-то вверх и вбок, но его подняли, как ребенка, и Боря повис на чьих-то руках, с глупым букетом, глупо.

Сыщик смотрел на него и думал, что как-то все в космосе непорядочно, вот и парень влюбился в разложившийся труп, да и не сам ли он ее кокнул, но, впрочем, впрочем, работа, дом, стиральная машина, и, кстати, уже весна, не то чтобы тепло уже или зелено, но пахнет весной.

Классный кофе

Однажды у нас возникла дверь, настоящая, деревянная, с ручкой из нежной меди, а не просто дырка не пойми где и куда. Однажды эта дверь открылась, и вошел кто-то очень маленький.

– Зовите меня Циклоп. Я слышал, вы крутые. Но не круче меня. Я вешу тридцать три кило, поняли, да?



Он был не карлик, просто крайне худ, и с белым пятном вместо правого глаза. Руки и ноздри его дрожали. Он был неистов. Он скинул огромный рюкзак, и там зазвенело металлом и хрусталем.

– Все что нужно. И мне, и вам, и миру. Мой дом. Моя лаборатория. Я делаю яды. Могу отравить вам город. Могу вам его спасти. Могу смешать ужас. Ярость. Вечную любовь, только наутро будет худо. Я лучший химик по эту сторону реальности

– Зачем? – спросил человек.

– Кто пытался засунуть кота в коробку, знает, что такое отчаяние. Но представьте себя на месте кота. Представьте, как падает небо, как мир сжимается до мешка, до бака, и ты в нем мусор, и ты умираешь, и точно умрешь без следа. Не оставив детей и книг, ничего вообще не оставив. И тут-то ты, наверное, кричишь, но все равно никто не слышит, тут-то ты готов отыметь что угодно, оставить семя на всех вещах. Пометить каждое слово – собой: да, я, Циклоп, тут был, тут был, тут был.

– Звучит как передозировка наркотой.

– Нет уж, не снижайте пафос. Я познал смерть. Когда я понял, что не вылечу мир, я сам обожрался своих лекарств, познал смерть, а вы не знаете, что это такое.

– Ну, отчего же, – сказал человек и снова, как во все особые моменты, сначала сгорбился, а после распрямился. – Вот лежу я, весь в дырках, и не знаю – оживу денька через три или все, в прах. Похожее чувство.

– Отчего же, – сказала Нинель, – вот сижу я, вся в веревках, в таком же вот подвале, и вокруг сначала ничего живого, а потом много живого, но ничего человеческого. Съешь пирожок.

Не знаю, какая начинка досталась Циклопу, но он посветлел, успокоился и сказал:

– Возьми меня в команду, человек. Я не знаю, что вы тут делаете, но с моей биографией только под землю.

– Мы под землей не навсегда, – ответил человек. – И мы тут не одни.

Трех убийц мы прогнали. Прогнали трех чиновников. И теперь к нам пришли бизнесмены. Тоже трое. Первый трахнул об стол часами из детского черепа. Второй поправил плащ из татуированной девичьей кожи. Третий достал золотое перо и чернильницу с чем-то страшным. Говорили вроде понятно, но что-то не то и не так. Предлагали совместный проект, но никто не понял, в чем выгода. Надо было что-то подписать, но было неясно, где и зачем.

– Выпейте лучше кофе, – сказал человек. – Отличный.

Налил три чашки, и Циклоп щелкнул над ними пальцами. Бизнесмены выпили, закашлялись и застыли.

– Пол ползет, – сказал один.

– Потолок потек, – сказал другой.

– Мама, убери червей, я больше не буду, – сказал третий.

А потом они побежали. Хрипя, как наглотавшись бумаги. Топая с чавканьем, будто у них под ногами кровь. И когда добежали до горизонта, стали маленькими, как цифры на чеке.

– А вообще-то я добрый, – сказал Циклоп.

Где-то в углу ему поставили раскладушку, он разложил свои бутылочки и штучки, и начал потихоньку что-то смешивать для горя и радости. И в меню кабаре «Кипарис» появился особый кофе: с корицей, перцем и секретом. Для тех, кто ищет утешения в безутешных наших городах. Для тех, кто хочет путешествий с печки на лавку. Для тех, кто больше ничего уже не хочет и не ищет. К вечеру снова пришли люди, и было их чуть больше, и сказка моя была чуть горше.

Среда. Зимняя сказка

Бывает – и жук летает, и рак ползает.

Петр, Федор и Андрей жили в маленьком городке, в тени большого города. У них было три работы, три жены, три кота, три выходных костюма цвета вечной мерзлоты и три крохотных квартиры с балконом во двор.

У Петра шумело в голове, у Федора кололо в пояснице, Андрей чесался даже во сне.

Каждую ночь они вжимались в подушку и чуяли, как медленный хруст сердца ведет их к смерти.

Жить оставалось тридцать или сорок лет, но годы были полны пустотой.

Лысый Грисюк, продавец героина, вился рядом.

В кафе «Январь», под смех осипшего радио, Петр, Федор и Андрей пили пиво и ели хлеб. Который день крутила вьюга, снегу было по горло.

У Петра была жена, тонкая, как провод. Однажды в субботу она читала прошлогодний журнал.

– Посмотри, у кого жопа лучше, – сказала жена, – у меня или у этой бабы?

– У тебя, – сказал Петр. Он перевел глаза с гусиной кожи, с нелепых серых кружев на ангельские бедра Мерилин Монро.

Однажды в субботу, в день отдохновения, Федор шел по рынку и увидел, как старуха в гнилом тряпье торгует китайскими колготками на вес. Они были спутаны, как внутренности, их заметал снег.

Меж тем Андрей купил новый подержанный мобильник и все вокруг фотографировал – то кота, то палец, то стену, то окно.

Вечером, за пивом и хлебом, они рассказали друг другу день.

И придумали кое-что.

Петр, Федор и Андрей стали деловыми людьми. Покупали на рынке эти уродские колготки, распахивали по пакетам и на каждый лепили фото: Мерилин Монро, вид сзади. «Мерилин – в наших колготках вы как в кино».

Городок умирал в сугробе. Электрички уезжали полные и возвращались пустые, все меньше окон горело ночью.

Мужчины надели под пуховики выходные костюмы цвета вечной мерзлоты и пошли продавать колготки втридорога.

Появился лысый Грисюк, долго и внимательно шел рядом.

– Ну чего, блядь! – сказал он, и его рот дрогнул, – есть варианты!

– А я тебя помню, – сказал Петр. – Ты ел снег, у тебя была двойка по арифметике и чтению.

– А теперь я серьезно поднялся. Я прокачанный человек, – сказал дрожащим ртом Грисюк. – У меня «Форд».

– Твоему «Форду» треть века. Купи вон сестре колготки. В наших колготках вы как в кино.

– Я ничего не покупаю, я только продаю, – сказал лысый Грисюк. – Если что, вы знаете, где я.

Кому везет, кому не везет, а кому то да се.

Петр, Федор и Андрей были везучи.

Они бродили по домам и людям, и несли домам и людям колготки.

Дело шло: белые девицы, розовые жены, черные старухи – все брали «Мерилин». Весь городок, все его бедные женщины ждали кино.

Петр, Федор и Андрей сели в кафе «Январь» перебирать деньги.



Лысый Грисюк возник и отряхнул снег с ботинок.

– Я много думал, – сказал он. – Я всю ночь считал почти незаметные трещинки в стене. Я не куплю ваших колготок.

– Ты не себе, так сестре купи.

– У меня сестра в инвалидном кресле. Она все равно что безногая. И слюна течет. Купите у меня лучше этой штуки.

– Чего?

– Ну, штуки этой.

– От нее, мы слышали, руки отпадают.

– Да идите вы, – лысый Грисюк стал быстро пятиться, его рот дрожал, – жида. Сво-
лочи!

Федор и Андрей все распродали и отправились домой, а Петр пошел в полицию.

За стеклом юный лейтенант читал и плакал. Он поднял на Петра глаза, полные боли.

– Они умерли. Они все умерли! – сказал он.

– Дорогой дежурный, – сказал Петр, – я пришел к вам с благой вестью. Я знаю, как это трудно – ловить преступников. Как в погоне болит душа и потеют ноги. У меня для вас есть решение всех проблем. В них прохладно летом и тепло зимой. В них вы никогда не умрете, в них никто никогда не умрет. Я и сам ими пользуюсь. В наших колготках вы как в кино.

Петр щелкнул пальцами, поклонился, медленно расстегнул пояс, снял брюки и показал колготки «Мерилин».

Мужчины долго и внимательно смотрели в пустоту.

– Беру, – сказал дежурный и вытер слезы.

Осталось продать лишь несколько пар.

Петр шел домой и думал, как там тепло и пахнет супом. Думал, как жене будет приятно, когда он скажет ей, что она самая красивая. Как он купит новый кафель и календарь на следующий год. Как жена от счастья побреет ноги, и все будет хорошо.

На повороте, у замерзшей яблони, его толкнули в спину, потом еще раз, как будто лопнули позвонки,

Петр упал на бок, слыша хруст сердца в снегу и не зная о плоской дыре в спине, и почти не чувствуя боли.

Петр увидел: лысый Грисюк подпрыгивает и убегает с последней охапкой «Мерилин», бросив измазанный черным нож.

Петр подумал – вот, наверно, его дома ждет сестра, вот, наверно, обрадуется, вот, наверно, будет хоть один день веселья, впрочем, что ей без ног, с рождения не зная ног, да и все белым-бело, все давно уже занесло снегом.

Важные вещи

Я не то чтобы где-то бывал, но что-то слышал.

Есть, говорят, улицы света. Там прозрачные стены, за ними лежат вещи, вещи сторожат люди, другие люди дают им деньги и набивают пакеты стекляшками и огоньками.

Есть, говорят, улицы смеха. Там танцуют, пьют и дерутся в танце. Пахнет женщинами и мужчинами, и ядами со всех концов земли.

Этих улиц им тоже мало, и, кусая друг друга в губы, люди сворачивают на улицы шепота. Там носят ночь, жмутся в тень, убивают не глядя и не находят тело.

Есть еще – я там не был, но люди рассказывали – есть еще утренние улицы, на которых ты совершенно один и тебе хорошо совершенно.

А у нас тут нет никаких улиц. У нас тут целые районы тишины. Никогда и ничего. Ну вот просто ничего не случается. Разве что дерево выросло и срубили. А столько-то зим назад какой-то идиот показывал девочкам член, но те уже и так все видели.

Тут-то и расцвел наш бункер. Тут-то мы и возвели кабаре «Кипарис».

И кривой говорил косому: слышал? Кофе наливают вообще бесплатно!

И хромой говорил колченомому: слышал? Можно нормально подкормиться!

– Слышал? – говорили приличные люди друг другу, – эти придурки развели бомжатник в бывшем бомбоубежище! Но дизайн нормальный.

Стены были – крашеный бетон с инструкциями, как убивать. Но мы ободрали что было и наворовали красивого кирпича со вставшихстроек. Пол был чернота и лед, но мы принесли подушки и легли, кому где хочется. Свет был мертвый, технический. Мы принесли свечи в чашках. Выкинули трехъярусные нары и противогазы. Сделали тысячу закутков на тысячу человек, и каждому казалось, что это место предназначено только ему, как в кладовке у бабушки, если Бог дал бабушку и кладовку. И каждая вещь была чуть знакома, как из детства.



Фото: какой-то мужик с булавочными дырами вместо глаз. Табуретка с резными ножками: последний шаг висельника. Вспоротый стул: искали деньги и документы. Кто-то при-

нес ванну со следами пуль и в нее лег. Кто-то принес бурый ковер и в него завернулся. Приятные салфетки из приятной бумаги. Приятную посуду из изумрудного стекла.

Шли люди. Слепая певица спустилась под землю, стуча по бетону тростью.

– Рассказывают, у меня на морде полоски. Три на правой щеке, две на левой. Это меня папа маме через проволоку передавал. Возьмете петь?

И мы взяли ее петь.

Пришел мужчина с пустотой вместо рук.

– Я был программист, программировал программы. Теперь вот нечем стучать по кнопкам. Но я научился стучать иначе. Возьмете на барабаны?

И мы взяли его, и культи извлекли глухую дробь.

Пришли братья – сцепленные бедрами близнецы.

– Мы тут вам все починим, но медленно. И еще можем дуть.

И у нас наконец-то заработал туалет без перебоев, а из лишней латуни они собрали фагот и флейту.

И когда над миром упало солнце, в кабаре «Кипарис» набились люди. Их было не много и не мало, а ровно так, чтоб согреться и не вспотеть. Инвалидный оркестр отыграл свое, и я начал новую сказку.

Четверг. Сказка про проволоку

Время гнет нас, время нас гнет, гнет нас время.

Жила такая Рита со стальной проволокой во рту. Еще у нее были кошки хороших расцветок: черная, рыжая и полосатая, ползали на пузе то туда, то обратно.

Рита работала в кабаке женщиной, которую трогают, но не любят. Она должна была красивая танцевать у стойки, задира́ть юбку и даваться в руки, чтобы все захотели в кабак еще раз. Но никаких совокуплений на территории фирмы. Так сказал хозяин, мертвый человек с лягушачьими глазами:

– Полежут в сиськи – бей. Прочее дозволено.

И положил контракт в стол, закрыл стол на ключ, а кабинет на защелку.

Давным-давно шел снег, и отец наказал Риту кулаком, а потом ногой в рот, и проволока скрепляла разбитые кости. Ткни – лицо развалится. Рита изредка плакала в кошек, с трудом говорила и четырежды в неделю давала себя трогать, но не любить.

Время гнуло всех, всех гнуло, а Риту нет. Она никогда не улыбалась и вообще редко шевелила лицом. От этого кожа была гладкой и нечеловеческой.

Постоянный посетитель коммерсант Сергей Петрович выпивал семь водок, доставал шмат денег и шептал:

– Хочу японку.

И Рита давала себя трогать сверхурочно. Хотя никакая она не японка, совершенно русское лицо и нос к небу. Сергей Петрович был ей другом.

– Я тебя не собираюсь того-сего, японка. У меня уже ничего не работает, сила ушла в бизнес, в бизнес ушла сила вся. Убью, сука, если им скажешь. А сейчас дай сюда поглажу ногу, хорошая моя.

На излете ночи сидели рядом, пьяный часто прикасался и спрашивал про жизнь. Рита берегла слова и была точна в них.

– Я – актриса. Как Одри Хепберн. Никого нет. Кошки. Буду поступать. Коплю деньги.

– Ты японский робот, а не актриса. Вот стул, сядь, встань, поверти задницей по кругу, наклонись. Сиськи где? Вывали побольше. Поставь ногу на стул, высунь язык — сука, нежнее высунь – садись рядом. Видишь – ты робот. Я тебя люблю, вот тебе денежек, хорошая моя.

Однажды Рита поцеловала кошек сомкнутыми губами и уехала в город побольше. Лишь прикосновение к кошке прекрасно, а люди и предметы – отвратительны. Поезд шел ночь и ночь, и вонял вечностью. Проводники играли в карты на удар по морде, и до утра в тамбуре стояла кровь. На нижней полке дышала старуха, которая помнила войну, но не помнила какую. Рита вышла курить, а за ней выполз проводник почти без лица.



— Я из благородных, я филолог вообще-то. Всегда прочим проигрываю. Ничего от меня не осталось. Папироску!

— Я — актриса. Я — поступать.

– Зачем? Иди лучше в проводники. У нас, во всяком случае, чай. Мир посмотришь – то туда, то обратно. А в карты можно и не играть.

Рита напряглась и сказала длинно:

– Меня всю жизнь трогают одинокие люди. Хочу, чтобы только смотрели, а не трогали. Буду актрисой. Как Одри Хепберн. Тоже танцевала в кабаке.

Проводник молча курил, с него капало. Рита протянула руку к форменному тулупу и погладила воротник.

— Можно? Мягкий. Кошка.

На отборочный тур приехало триста женщин, читать стихи. Лампы дневного света трещали в глаза.

Риту объявили, она вышла в центр и застыла как покойница.

Какие-то люди распоряжались всем и скучали, шевеля пальцами.

— Девочка, вы ужасно напряжены. Вот стул, сядьте, встаньте, подышите глубоко, пройдитесь. Осанка где? Спокойней, вы не в борделе. Видите — вам легче. Расслабились? Пожалуйста, начинайте.

Время гнуло всех, гнуло-мяло, а Риту чуть меньше прочих. Она вернулась почти прежней и побежала с вокзала работать.

Сергей Иванович выпил уже двойную норму и нежно смотрел, как Рита ходит полуго-
лая между столиками. Потом позвал:

— Хочу японку.

Прикасался и спрашивал про жизнь. Рита сдвигала и раздвигала ноги, вертела задом и мотала грудью, не меняя лица.

– Не взяли. Плохая речь. Травма. Никогда не быть. Сказали – дура, издеваюсь. Но есть Одри Хепберн. Она есть.

Сергей Иванович заплакал, как все пьяные мира— просто вода незаметно пошла по лицу.

— Есть она, сука. Есть она.

— Я пойду. Еще работа. Спасибо, что посидели с кошками. Как они?

— Рыжая обоссала диван и под диваном. И в кухне тоже нассано. А так все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.

Добрые дети

Из кофейных зерен и винных ягод сложили мы наши буквы. Птицы и ветры разнесли их по городам.

В каждом бедном районе возникло свое кабаре «Кипарис». В каждом бедном районе когда-то боялись бомбы и вырыли что-нибудь под землей. И у каждой дыры под землю повесили белый лист. Со словами про музыку, смех, страдание и кофе на халяву — каждый вечер.

И тогда человек усмехнулся, кинул в стену стакан, посмотрел на зеленые брызги и повел нас наружу. И мы пошли. Первым шел человек. То вровень с домами, то ниже луж. А если взглянуть — да просто высокий мужик немного бандитского вида. За ним Нинель, затмевавшая звезды. Но если не принимать сияние в расчет — ну, хромая баба, а звезд в городах и так не видно. Шел Циклоп, звенело стекло, шуршали таблетки. Типичный подросток-наркоман. Следом я. Ничего особенного.

На углу полицейский уронил мужчину и пинал его ногами.

— Зачем так? — спросил человек.

Полицейский прервался, задумался, вспомнил, как говорить, и сказал: работа.

— Я тоже на работе, — сказал человек. Он, как обычно, стал чуть выше ростом, и, как обычно, что-то хрустнуло, и в ногах у полицейского не осталось ни одной целой кости.

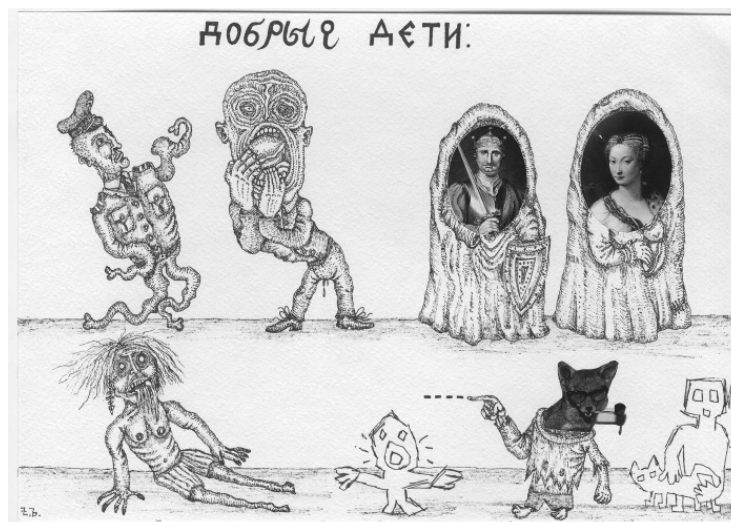
— Все п-п-просто, — сказал человек. — Теперь сами.

За поворотом мужчина ел мясо, завернутое в булку, засунутую в мясо. Левой рукой он пихал мясо в рот, а правой рукой бил женщину.

— Сука, — чавкал он. — Вся, сука, жизнь!

— Этот мой, — сказала Нинель. — Эй, мужчина!

— Ты следующая, — сказал мужчина, съел еще немного мяса и занес кулак, но мягкая начинка стала в его горле твердой, и его перекосило. Нинель сказала, что так теперь всегда будет. А мы пошли дальше.



На перекрестке женщина душила ребенка и очень подробно объясняла, почему этот маленький ублюдок неправильно живет и у него никогда ничего не получится.

Циклоп щелкнул пальцами, что-то подбросил, как-то метнулся вбок, в холодном воздухе повис неясный запах, сверкнули частицы чего-то хитрого, женщину заколотило, и она перестала. Нинель поболтала рукой в кармане и дала ребенку совсем уж крохотный пирожок с начинкой из дынной жвачки и веры, что никогда не умрешь.

Мы шли и шли, и у какой-то ямы ребенок искал, где у кошки глаза, чтобы выдавить.

– Эй, – сказал я. – Ну-ка, бля, прекратил. А я тебе за это расскажу сказку.

Пятница. Сказка про Антона

Всегда найдется добрая близорукая душа, сплюнет и скажет: неправда, все не может быть настолько плохо.

В конце марта один мужчина выбросил в мусоропровод двухлетнего внука своей любовницы. Соседи выбежали на рев и вызвали кого надо, мужчину нашли, надавали ему слегка по морде, и сыщик с длинной, похожей на кишечник улыбкой, включил запись.

Я решил не обрабатывать ее литературно. Только выкинул наводящие вопросы. Пусть будет, как было. Мужчина смотрел прямо в камеру, запинаясь, закрывал глаза и сглатывал, и говорил вот это, дословно:

– Пришли домой. Решили немного выпить. Анна Петровна пошла ребенка укладывать. Точнее, было непонятно, кто кого укладывает, она его или он ее. Она была очень сильно пьяная. Потом я сел в большую комнату смотреть кинофильм. Ребенка отнес к бабушке. Но он начал бегать. И пищать. Водки у меня оставалось где-то ноль семь. Ну вот. Прошел еще час. Я сидел, пил. Ребенок вроде утомился, потом обратно прибежал бегать. И пищать. Я ему два раза сделал замечание. Потом я его нечаянно. Потом я. Я потом хотел его просто встряхнуть, но он у меня вырвался. Потом я. Потому что он был. В маечке и трусиках и упал навзничь. Это в большой комнате у меня. А там у меня ковер и дальше ковра идет паркет уже. И я нечаянно – я сделал это не специально – я испугался – я увидел, как ребенок качнулся головой назад и захрапел. Я его поставил в большой комнате и начал приводить его в порядок. Вдруг что-то произошло. И он замолчал, ребенок. И я по состоянию аффекта, я не знаю, как это произошло, решил избавиться от ребенка. Я открыл две двери и аккуратно вынес ребенка к мусоропроводу. И кинул его туда. Потом пришел домой, схватился за голову

– что я натворил – чуть с ума не сошел. До утра сидел. Продумывал, что делать. Я правда решил, что ребенок уже погиб.

Все они жили на острове – чуть-чуть домов, полтора завода и туннель на большую землю. Бабушке Анне Петровне было только сорок с чем-то, молодая совсем. Спьяну она всегда плакала, раздевалась перед зеркалом и мяла груди, рассматривала тело, все его складки и волосы, и плакала, что молодости вообще не было, а были какие-то вонючие прыжки и повороты, и все закончилось островом. Анна Петровна любила своего мужчину – он был моложе и драл ее как молоденькую. Но у него был щенок ротвейлера, очень шумный, и мужчина выбросил его в окно, и тоже потом плакал, они потом вместе с бабушкой плакали, она голая, а он в брюках.

У ребенка того была и мать, не только бабушка. Таня родила в пятнадцать, от мелкого и тупого, который, впрочем, любил ее, девочку. Работала в магазине, в винном отделе, пенсионеры называли ее проституткой и брали в долг. Когда ей сообщили, Таня упала на пол и закричала, глаза у нее стали как снег с кровью. Она очень хотела к сыну, в больницу, но надо было работать с девяти утра до одиннадцати вечера, каждый день, иначе вместо нее посадят таджичку. Поэтому в больницу Таня не пошла, и в реанимации не знали даже, как ребенка зовут – Антоном – знали только про все его ушибы и переломы, а как зовут, не знали.



– Ничего, нового родишь, – сказала бабушка Анна Петровна, когда Таня вернулась с работы. – Молодая еще, сука.

– Я не хочу нового, мне очень нравится этот, – сказала Таня.

– Не спорь с матерью. Родишь нового! А моего мужчину не вернешь! Не вернешь, поняла? Его засадят лет на десять, маленького моего.

– Он же грубый. Бил тебя.

– Он-то меня бил, а у тебя вообще никакого. Когда сын сдохнет, совсем никого не будет.

Потом бабушка стала плакать и извиняться, потому что все-таки очень любила и внука, и дочь.

На суде мужчина совсем обмяк и рассказал, как двадцать девять лет назад сделал из тетрадного листа кораблик и пустил по ручью. Это не записывали и почему-то даже не слушали. Мужчина тогда сказал, что признание вырвано пытками, что ребенок сам открыл две двери и прыгнул в мусоропровод, маленькие дети могут многое. Вот так заснешь у телевизора и проснешься преступником.

Я тоже был на том суде и обещал говорить только правду. Все так и было, кроме кораблика – это мое воспоминание, это со мной произошло, а все остальное – с ними, с этими островитянами.

В магазине теперь сидела тощая таджичка, ей платили в два раза меньше, чем Тане, она плохо понимала слова и знаки, зато ее можно было положить на пол в подсобке или вовсе уволить, и она смолчит.

В больнице Таню встретил очень молодой, но совсем беззубый врач.

– Вам так повезло, сто он вызыл, – сказал врач. – Вас сын обязательно будет ссытлив.

Еще на острове был такой неприятный человек – притворялся слепым и с этого жил. Когда он и правда ослеп, он уже не просил денег, только бродил у моря и бормотал: «Господи-господи, выведи меня отсюда».

Бог, бомба

Если родился слепым или слепым притворился, если просто закрыл ненадолго глупые глаза, мир становится ясней, а, впрочем, нет, не становится. Но вот иногда собираются люди, наливают и выпивают, и делятся дорогим, и прячут бесценное, ну просто нормально так общаются, и входит некто новый, и за ним тащится тишина.

Однажды в кабаре «Кипарис» пришла женщина: на шее канат, на канате ящик, у ящика четыре колеса, одно отвалилось. Глаза у нее были такие же, как волосы: янтарные в седые клочья. Щеки были такие же, как руки: в мелкую сетку. А голос был как скрип ящика, который она тянула, как бык плуг.

– Когда отцу стало совсем плохо, он послал меня за таблетками, послал меня за таблетками, послал меня за таблетками через болото. И если вы думаете, что у вас тут плохой район, так представьте, что нет никакого района, а есть бараки по эту сторону и бараки по ту. А посередине топь, и дочка соседки там уже утопла. Но у отца был жар, ему снились кожаные медведи, мать слизывала пот с его висков, а мне сунула денег и велела идти. Мне было четыре, я уже знала буквы, но не знала, что ими можно убивать. Я взяла деньги и пошла за таблетками, и утопла по пояс, но выбралась, не помню как, помню только холод снизу, но выбралась, не помню как, разбрызгивая грязь, и вернулась домой без денег и без всего, и тогда мать заплакала, а отец плюнул на пол кровью, медленно снял ремень и велел подойти поближе.

– А дальше? – спросил человек.

– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Я уехала хоть немного побыть красивой, ногти и все такое, а когда вернулась – ключ не влезал в скважину. Он ушел от меня, он остался за дверью, ушел, остался там со своими суками, тысячей сук, слушал, как я ору и ломаю дверь, но нам как раз новую поставили. Я была ему всем, я засовывала в себя баклажаны, чтобы ему понравилось, я слизывала пот с его висков, я орала в скважину, чтобы вернулся, я выдирали из двери глазок, а ногти мне сделали, кстати, очень хорошо, но дверь нам поставили лучше. Он вызвал ментов и сказал, что его любовница ебанулась.

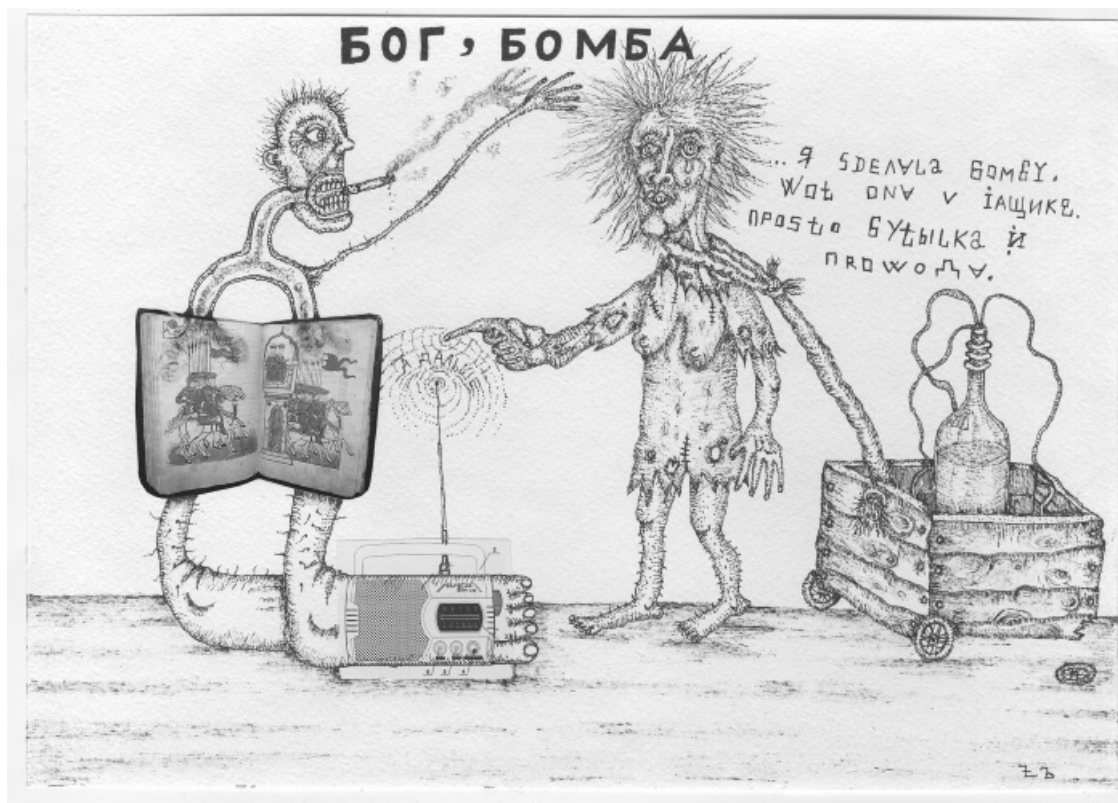
– А дальше? – спросил человек.

– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Я качала его миллион минут, пела ему про солнышко всякое, а он морщился, еще ни во что не врубался, но морщился, ненавидел меня и орал. И он болел, так болел, годами болел, и я слизывала пот с его висков, и однажды увидела, что я старая совсем, а он продал все мои платья, чтобы чем-то убиться, и, когда ему стало окончательно плохо, он послал меня за таблетками, послал меня за таблетками, послал меня за таблетками через болото.

– А дальше? – спросил человек.

– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Тот старик с мертвого завода сказал: разбей, и все погибнет. Вот она, бомба. Разобью, и все. Всех. А

мы выживем. Кто чего-то стоит. Ты сорвал яблоко – живи. Ты собрал меду – живи. Ты принес тарелку – живи. Ты умеешь только врать и насиловать – сдохни, тварь, сдохни! А мы останемся. Только хорошие. Только мы. Будем скрещиваться друг с другом. Будем плодить только хороших. Только нас. Мы инвалиды. Гордиться нечем. Бежать некуда. Но вот моя бомба. Вот моя бомба. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Тот старик с мертвого завода сказал: разбей, и все погибнет. Он продал ее за бутылку, блок сигарет и поцелуй в губы. Там химическое производство. Было. Раньше. Теперь ничего нет.



И тогда человек погладил ее по седым с янтарем волосам, и она заплакала, а он сказал очень строго, что ничем не может помочь.

И она ушла, а прочие сели и стали слушать.

Суббота. Атомы состоят из ангелов

Не тот бездельник, кто сидит без дела, а тот, кому делать нечего.

Когда-то кто-то пососал карандаш, почесал в штанах, начертил квадрат и построил город из пятиэтажек. Потому что если атомная война, то взрыв повалит небоскребы, а пятиэтажки не повалит.

Что осталось пустым, равномерно истыкали тополями. Тополь глупое дерево: растет недолго, сгорит – не жалко. Далеко не кипарис.

Дома стояли, тополя цвели, а бомба так и не упала, и все состарилось в ожидании конца света.

В одном таком доме жил один такой парень Саня Светлов. Пробовался то грузчиком, то кладовщиком, то паковал сигареты в пачки, но все было не то. Родители кормили его и давали смотреть телевизор, а он годами гулял по району с бутылкой самого дешевого пива и ждал нужного поворота судьбы.

Все вокруг работали и угрюмо смеялись над бездельником Саней, в глазах у них было спокойное знание жизни, а он ходил никакой.

У Сани был главный друг, ядерщик Руслан. Он-то знал, чего хочет. В школе ковылял с тройки на тройку, но в старших классах полюбил физику, стал лучше всех хоть в чем-то, пошел на физфак, запил и был исключен со второго курса.

– Я ядерщик! – говорил Руслан. – Я ядерщик. Атомы состоят из ангелов. Я блюю.

Меж двух домов, у трансформаторной будки с нарисованным добрым солнцем, была детская площадка, где все выпивали, вот и Саня с Русланом. Раньше был еще третий в их компании, Тимофей с маленькими, как бы заросшими лишней кожей глазами. Он пропал года на три, а потом подошел к ним и злобно сказал:

– Я хочу быть океанологом. Или бильярдистом. А любви нет. Проснешься, а рядом опухшая рожа.

И ушел. Саня Светлов навсегда запомнил эти слова.

Годы проходят, как зубы: хоп – и дырка.

Однажды Сане Светлову исполнилось сколько-то лет и он все искал работу. То охранял кучу мусора на заднем дворе, но ему не заплатили, потом две недели крутился в магазине бытовой техники, но стало скучно.

– Ты ничтожество, – говорил ему Руслан, – вот посмотри на меня. Я ядерщик. У меня научное мышление. Да, меня тоже отец кормит. Но ты не работаешь от безволия. А я не работаю от того, что я ядерщик. Я жду места.

– Мне бы, – сказал Саня Светлов и задумался, – мне бы выбрать, что по душе. А не как все.

– Люди не могут то да се пробовать. Всему свое место. Я ядерщик. А ты ничтожество. Но мой друг.



На следующий день рождения Саня попросил у отца сразу много денег, выпил, позвонил по специальному телефону и впервые попробовал женщину. Она была тоже пьяна и шевелилась под ним как раздавленная.

– Тима был прав, любви нет, – сказал Саня Светлов.

Опять было раннее лето, а летом самое хорошее – запах тополей после дождя.

Отцу Сани Светлова сказали, что он уволен.

Вначале он стоял у конвейера и паковал сигареты в пачки, потом устроился механиком чинить конвейер, потом старшим механиком, прошла жизнь, получал нормально, только задышался, потому что на работе выдавали четыре блока в месяц бесплатно.

У отца немного тряслись руки и болел бок, на вкус он уже не отличал котлету от хлеба, но запах тополиных почек еще чувствовал, или, во всяком случае, помнил.

Его уволили. Он постоял у выхода. Понял, что жить осталось лет десять. Пошел домой. Покашлял. Поел. Заснул.

Саню Светлова устроили работать. Он стал кормилец. Какой-то троюродный, что ли, брат торговал дверьми, и Саню определили торговать дверьми.

– Теперь ты взрослый человек, Саня, – сказал отец и закурил две сигареты одновременно, – Теперь ты в серьезные люди подался. Ты человек, Саня.

– Можно после работы с Русланом погулять?

– Нельзя. Ты взрослый человек, Саня.

Годы кончаются, как сигареты: хоп – и нет пачки.

Однажды Саня Светлов и Руслан созвонились, встретились и выпили. В кустах орал подростки, а они ползали по асфальту, взрослые, со скучными морщинами у глаз, и их тошнило.

– Я ядерщик! – говорил Руслан. – Я ядерщик. Атомы состоят из ангелов. Я блюю.

– А я продавец дверей, – говорил Саня Светлов. – Я продавец дверей. Я продаю двери. Люди покупают двери. Нужны двери. Наши двери лучше.

– Саня! – кричал Руслан, и изо рта у него текло. – Саня! Продай мне дверь.

– Сделай бомбу, Руслан! Сделай бомбу!

И Руслан встал из лужи рвоты и уставился на пятиэтажки, на тополя, на довольно красивый закат. Он вспомнил, что на первом курсе читал интересную книгу, как строили эти районы, эти дома, исходя из мощности взрыва и силы ударной волны, но плохо помнил, что за книга, бомбардировки не будет, атомы состоят из ангелов, мир на земле, тополя цветут.

Степная сказка

Вот и в наше укрытие пришла весна.

Не знаю, как там, где и что, а воздух пропах зеленым. Ночь зашумела. И это проникло на четыре человеческих роста под землю: к нам. И наш бетон задрожал от птичьих звуков. И свет стал прозрачней.

Все было, конечно, не так. Не совсем так. А вот как было: безрукие сыграли, безглазые спели, тысячи тысяч вдохнули в такт, Нинель испекла пирожки, человек заварил кофе, а Циклоп насыпал туда чего-то для ясности.

А я распахнул рот и подвигал челюстью, чтоб захрустело.

Послушайте сказку, люди мои, люди.

Ну!

Любишь смеяться – люби и на поминках сплясать.

Папу посадили за устройство мозга: нарвал травы из-под забора, покурил, не помогло, взял водки, смешал, стало мутно, ну и убил кого-то кое-как, случайного мужчину. Это степь, тут ходят.

В тюрьме папа загрустил, проглотил лезвие, но не умер, а остался жить дырявым: пол, потолок, стена, стена, стена.

Некрасивая мама тоже осталась одна, с дочкой. Тоже пила, конечно. Это степь, вы бы видели ее в цвету. Трудно на ее фоне.

Мама пасла голубей. В левой руке хлеб, в правой руке прут. Манила их крошками, а потом хлестала, стараясь разmozжить голову. Девочка тем временем ходила вся обделанная. Ела что попало, и было ей постоянно плохо, и ее заставляли саму убирать.

Из города приехала бабушка – дырявого папы мама. Она смотрела на девочку с легким омерзением, на все эти пятна и потеки. Она-то из этой степи сбежала давно еще. Она-то

выгодно выделялась, у нее были тонкие ноги и молодой рот, все зубы целы. Мама протянула ей прут и хихикнула:

– Г-г-голуби.

Бабушка спросила девочку, что ей привезти из большого города. А девочка – я не был там, понимаете, я там не был, а то бы взял и исправил все на месте и навсегда – а девочка ответила:

– Конфету на палке, три колечка по кольцу на пальчик и каблучки, чтобы цокать.

Бабушка выразилась в том смысле, что пальчиков-то пять, но девочке нравилось повторять «три колечка» и «каблучки». Понимаете, это звучит хорошо. Почти как кабаре «Кипарис». А у девочки был музыкальный слух. Она бы стала поэтессой или скрипачкой, она бы выступала тут перед нами, если бы, конечно, сбежала из той дыры.

Каждую неделю в степи что-то горело. То булочная. То библиотека. Девочка училась драться и курить. Мама вообще не понимала ничего.

Я эту бабушку обделанной девочки знал ой как здорово, метил к ней в зятя, чтобы, значит, эта девочка стала двоюродной сестрой моим собственным будущим детям – чистым, счастливым, любимым. Нет, ну о девочке-то я тогда не думал, просто полюбил младшую сестру дырявого папы, золовку пьяной мамы, тетю обделанной девочки, тоже с тонкими ногами и молодым ртом, это семейное. Но потом я услышал все целиком:

– Как же мне вас жалко!

Это сказала девочка на прощание. И обняла бабушку за тонкие ноги.

– Что же нас жалеть?

– Ты умрешь. А я не хочу, чтобы ты умирала. Я хочу, чтобы никто не умирал.



Говорят, все мои сказки злые: шел, упал, убился. А что делать, если все так и происходит. Так и происходит все. Ну, в этот раз я решил, что все произойдет по-другому. Что привезу ей конфету на палке, три колечка по кольцу на пальчик и каблучки, чтобы цокать.

Знаете, мечтал, удочерю, выведу из этой степи в наши края. Все же у нас ну хотя бы не горит ничего, давно сгорело. Я бы эту девочку любил бы. Отдал бы ее в музыкалку по классу баяна. У меня же все условия. Квартира на окраине. Стены выкрашены зеленым и испачканы красным, чтобы было похоже на степь в цвету. Все у меня нормально. Пол, потолок, стена, стена, стена.

Мы уже с той, с ее тетей, все спланировали. Знали, где сами ляжем, куда ее положим, девочку-то. Но, понимаете, я полжизни наклеивал бумажки на стеклашки, ну или что-то

вроде и тут как раз опять потерял работу. Денег совсем не стало. А когда денег совсем не становится, это как пол, потолок, стена, стена, стена.

И мы вот что придумали. Отлично мы придумали. Что мы возьмем девочку как бы в кредит у нее же. Это ведь всего лишь одна почка. Она пригодится другой, счастливой девочке, чтобы продлить ее счастье. А нашу, плохонькую, мы переправим за почку сюда. Я на остатки куплю шкаф, чтобы она в него потом пряталась. Кровать, чтоб она по ней потом каталась. Стул, с которого она потом прочитает стихи о счастье. Себе – куртку. Вы понимаете меня? Понимаете? Я же все хотел нормально сделать. И операция-то была простая. Но это же степь.

– Так, погоди, – сказали из зала. Я не понял кто. Просто кто-то. – Так, погоди. Это все правда?

– Каждое слово. Я же тут.

– То есть адрес у этой девочки есть, имя и фамилия?

– Были.

– Были?

– Были. Ну и есть. У мертвых тоже есть адреса.

– Так вся эта мясорубка – правда?

– Неделю вертел, чтобы вы спросили.

– А еще есть?

– Что?

– Девочки такие. Которых мучают.

– Целый мир.

И тогда на сцену вышел человек, и в руках его была винтовка.

– Кипарис посвящен Плутону, то есть покойникам, но не вам, пока еще не вам. Кипарис убил оленя, а после одеревенел, чтоб горько плакать, как вы сейчас, как вы. Из кипариса сколотили ковчег, чтоб все спаслись, и вы тоже будете спасены. Кипарис, наконец, – это просто красивое дерево. И звучит хорошо: кабаре «Кипарис»! Кабаре «Кипарис»! Но позвольте напомнить правду. Мы находимся в отдельно стоящем убежище первого класса с расчетной нагрузкой избыточного давления ударной волны 5 килограмм-сантиметров на сантиметр квадратный. С защитой от поражающих факторов термоядерного оружия. Убежище оборудовано медицинским пунктом, фильтровентиляционной камерой, дизельной электростанцией и продуктовым складом. Влажность 70 %, температура 23 градуса, содержание углекислого газа не более 1 %. И мы можем хоть век рисовать на стенах цветочки, а цифры останутся прежними. А еще тут есть резервный склад оружия, он за той черной дверью направо от бара, и сегодня, только сегодня там не заперто.

Человек поднял винтовку, и пули полетели в небо, но заколотили по потолку

– Все п-п-просто, – сказал человек. – Теперь сами.

Люди встали, и были их тысячи тысяч, но это мне, наверно, показалось, потому что под землей темновато все-таки. Люди взяли оружие. Люди пошли. Я тоже пошел, человек среди прочих, в свистящую зеленью ночь. В хрустящий листьями холод. В лед, в лед, в лед. В теплую талую воду. Шел и думал, шел и думал, шел и думал, что если мы спасемся – да, если мы спасемся! —

отличная

выйдет

сказка.

Девочка, которая убила Курта Кобейна

Ненавижу вещи на «С»: смерть, свиные сардельки, субординацию. А на «Б» у меня бессонница, блядь.

Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, прыгнула голая на табурет и чирикнула: ночь-ночь. Давай, мол. Я выпил водки с колесом, медленно вдохнул, закрыл глаза и начал рассказ.

Был бы рыба – говорил бы с людьми.

А был бы человеком – жил бы по-человечески.

– Ну что, брат-рыба. Тебе в суп. А мне тебя резать.

– Смелей, брат-человек. У меня отсутствует участок мозга, отвечающий за болевые ощущения. Увидимся в раю.

Перед смертью Курт Кобейн написал воображаемому другу. Про ребенка, которому и без отца хорошо, и про мир, в котором ничего не изменится. Это потом, а сначала представьте штат Вашингтон. Тупой холодный океан и елки, вот и штат, представлять нечего.

Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, говорит: там кругом страшные длинные люди с головами скатов. И все живут в огромном аквариуме на вершине горы. И когда внизу океан волнуется, вода на вершине плещет в лад. Этих людей можно гладить. Только не хвостик. Хвостиком они насмерть. Девочка их гладила, ей было пять. Я – нет.

Она провела в Сиэтле год. Отец был большой русский океанолог и занимался болью. Он мучил радужную форель. Впрыскивал ей в рот кислоту и делал другие гадости. Это важная проблема, боль рыб. Считается, что ее нет, потому что у рыб нет мозгов, чтобы страдать. Про людей иногда то же самое говорят.

Рыбы реагировали: дергались и терлись губами о камни. Отец точно установил, что форель испытывает неприятные ощущения, но не смог однозначно заключить, больно ли ей. «В результате воздействия внешних раздражителей у форели возникли глубокие поведенческие и физиологические изменения», – написал он и пошел в сырой хвойный лес пить водку с колесом, а девочка осталась играть в шишки.

Она тоже испытывала глубокие поведенческие изменения, как всякий пятилетний ребенок, на которого отцу насрать. У нее были огромные желтые трусы. Она-то хотела купальник, потому что уже взрослая. Но родители не считали, что ребенка нужно одевать красиво. Вот пусть подрастет.

Если мне за этот рассказ заплатят, я засну и проснусь, и куплю девочке купальник, потому что она уже подросла.

У Курта Кобейна тоже были проблемы в семье. Его родители все дрались и бухали, а он все грустил и упомянул об этом в предсмертной записке.

В тот день, в начале апреля, двадцать тысяч человек убили себя. Это примерно. Никто о них ничего не напишет. Впрочем, в соседнем штате на кровати официантка нюхала пальцы. Думала: вот и старость, еще немного – и все. Закрыла глаза и положила в рот ладонь таблеток. А еще одного мужика нашли с отстреленной головой, как Кобейна. Но про него вообще ничего неизвестно, какой-то дальнбойщик.

Отец девочки был высокий, как два Кобейна. Строгий, бородатый и в огромных советских очках с кривыми линзами. Правда очень высокий, два метра. Он ездил к рыбам на чужом «шевроле» и зло шутил. Он говорил, что у форели боли нет, только радуга. От моих шуток девочка тоже плачет, хотя уже подросла и может носить купальник. Я шутками что-то такое подчеркиваю, что не надо подчеркивать. Есть фото: девочка, отец и «Шевроле». Курт Кобейн в кадр не попал, хотя был совсем рядом.

Америка удивительная, когда тебе пять. И огромные там шишки, огромные. Девочка нашла в лесу американских детей – много мальчиков, жирных, как скунсы, и страшных, как скаты. Они поиграли в шишки и как-то объяснились, вовсе без английского. Девочка сказала, что папа скоро придет, придет папа скоро, а вон за той елкой дают арбузы, и надо успеть, а то кончатся.

И вот самое важное место в рассказе. Они играли в шишки и арбузы, а мимо шел Курт Кобейн. Он увидел эти шишки, эти палатки и пикапы, росу на капотах. Увидел туман, и в тумане – русскую девочку в желтых трусах. И много маленьких толстых мальчиков. Девочка водила их вокруг елок. Все орало и выглядели счастливыми.

Курт Кобейн еще раз посмотрел на девочку, пошел домой, выпил чаю или что там у него было, медленно вдохнул, закрыл глаза и убил себя в голову.

I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad. The sad little sensitive, unappreciative, Pisces, Jesus man.

Девочка сказала, что почти все правда. Но ее привезли в Сиэтл только в мае, во всяком случае, было уже тепло и Курт Кобейн был мертв. Я сказал, что тогда за рассказ не заплатят. Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, прыгнула голая на табурет и чирикнула: ночь-ночь. Люблю, мол, тебя все равно.

Водки нет, колеса кончились, вот рассказ.

Я представляю: тупой холодный океан и молодой мужчина с крюком во рту. Скалы, елки. Он молчит и, кажется, не испытывает боли. Рыбак смотрит в его пустые от счастья глаза и отпускает в воду, потому что на некоторых берегах так бывает. Там никогда не поздно.

Песня про грязный дождь

Петр и Полина жили вместе,
ели вместе,
гуляли вместе.
Некоторое время не спали вместе,
но это все не про то.

Они носили одинаковые кольца и одинаково картавили. Но она боялась дождя, а он – времени.

Утром, чтобы не закричать, Петр надевал носки – дорогие, в чугунную клетку. Время лилось. Он, наклоняясь, видел вены – старость. Медленно выбирал рубашку с проволочным узором. Мял рукава костюма цвета серого кирпича. Тихо пищал, но все-таки не кричал – и шел на фабрику.

Полина собиралась быстро. Сиделась на кровать и так сидела.

В полночь Петр пинал дверь, пинал стену, пинал кошку, снимал надетое, смотрел на голую Полину, доставал литр водки, выпивал половину, осторожно вставал на колени, и его рвало – ни капли на брюки.

Во тьме все шуршало. За раковиной жил жук.

– Работай, кошка. Работай, – дрожала Полина.

Но кошка не ела жука. От Петра пользы не было тоже. Он спал на животе или делал вид, что спит.

Утром снова носки, писк, ужас – и Петр шел на фабрику, как много лет ходил. Там вязали шапки для слепых детей. Спереди сова, а сзади слова: «Я буду видеть!» Шапки хорошо продавались. Петр был точен, аккуратен очень, всем владел и все держал под контролем. Его уважали. Он даже выступал про социально ответственный бизнес.

Полина не могла работать из-за дождя. Если падала капля, если что-то где-то, ну, просто стучало, она набивала рот сигаретами.

Каждую полночь Петр, если не пил, садился на пол и говорил:

– Я творец. Меняю мир. Создаю рабочие места. А ты... пустыня.

По пятницам ездили в бар, убедиться, что все в порядке. Петр водил пьяный, потому что был точен, аккуратен очень, всем владел и все держал под контролем.

Петр и Полина много пили,
громко пели
в автомобиле,
некоторое время посуду били,
но это все не про то.

На фабрике работали одинаковые женщины без бумаг и без имен. Плохо понимали речь и вообще. Петр знал, что работники ценят личное отношение, и бил их бракованными шапками по лицу.

– Подумай о детях, – говорил Петр. – Слепые дети будут ходить в этом дерьме.

Полину он не бил. И сначала она ничего не боялась. Было хорошо: высокие потолки, твердые стены, окно в полмира, полный порядок и новое платье дважды в месяц. Однажды она спросила, сколько стоят эти платья и как насчет дождя. Оставляет ли он сложновыводимые пятна. Так и сказала – сложновыводимые. Через год у Полины было две дюжины платьев, но она курила в день по две дюжины сигарет и почти не покидала квартиру. Дождь мог начаться когда угодно.

Петр и Полина жили долго,
но не было никакого толка,

всякое покупали, только
это все не про то.

Петр боялся, что так и сдохнет без следа, поэтому собирал минералы, клал в шкаф и знал имя каждого. Однажды сделал стул с пятью ногами, красивый. Ночью, когда Петр прятался в подушку, Полина не могла вспомнить его лица.

– Работай, кошка. Работай, – дрожала Полина.

Но кошка не хотела никого греть. Она почти оглохла от ударов, ходила боком и растеряла нежность.

У Петра было шестьдесят клетчатых носков, тридцать проволочных рубашек и десять кирпично-серых костюмов. Он окружил себя правильными вещами. У него все было расписано. Все контракты на шапки на год вперед. Все речи. Полина, когда еще не так боялась, видела его выступление. В зале сидели другие женщины в платьях ценою в жизнь и другие мужчины в клетку и в серость.

– Творец, – говорил Петр, – это не выбор. Это гены.

День за днем шло как шло, и однажды дом лопнул, как рюкзак с камнями. Утром Петр надел что положено, но так и не вышел. Ну, просто не вышел.

Потом у стула отломилась ножка.

Потом заболела Полина.

Она лежала.

Был жар, ее трясло. Петр принес каких-то таблеток в коробке.

– Убери это от меня, – сказала Полина. – Убери. Эту. Воду.

Он привязал ее к кровати, пытался поить насильно, Полина визжала, и он все же вызвал врача. Тот уколол ей что-то и сказал, что нечего лечить.

– Это, – сказал врач, – обычно. Вы бы, – сказал врач, – видели, что я повидал. Чао.

Петр оставил Полину спать с пачкой сигарет во рту. Надо было на фабрику. Там все разладилось, вязальные станки стояли, и женщины стояли возле них. Одна вышла вперед.

– Слепые дети, – прочитала она по бумажке, – не про-зре-ют. И мы бы хотели зар-плату.

День за днем шло как шло и не то чтобы было хуже. Петр выгнал старых женщин и нанял новых. Ночью начался наконец настоящий дождь. Полина и не вставала. Такой дождь точно оставит сложновыводимые пятна на чем угодно.

Петр и Полина,

эх, Петр и Полина.

Кажется, это слишком длинно.

Посмотрим, кто кого сделал из глины.

Но это все не про то.

Петр вернулся рано. Дома было сыро. За окном стучало. Из окна текло. Пол был в следах от мокрых пяток. Не хватало одного платья, одной пары туфель, одной дорожной сумки, кошки и Полины. Кровать была заправлена, пепельница – вымыта.

Петр взял ее, осторожно осмотрел, он спешил, его ждали, надо было переодеться к очередной речи, но он еще раз обошел все, просто для порядка, быстро обошел, он же спешил, стекло в подошве закрипело по полу – ага, пепельница, подумал Петр, хорошо, что не снял ботинки, но он спешил, не было времени думать дальше, надо было спешить – ага, пепельница, – его ждали, надо было переодеться к очередной речи – очень быстро, быстрее обычного снять и надеть носки и так далее, а в зале уже сидели люди, свет бил в лицо, Петру потемнело, ему показалось, что нет ничего перед ним, ну просто ничего нет, что он вообще дома, лежит лицом в подушку и пропадет уже завтра.

Он подышал, тихо пискнул, но все-таки не закричал и очнулся. Потому что был точен, аккуратен очень, всем владел и все держал под контролем. Поклонился; похлопали.

– Вся моя жизнь, – начал он, – созидание.

Осень, 138

Фрол родился в октябре и умер там же. В крематорий ходит сто тридцать восьмой. Кондуктор серьезен, как в театре, его маршрут похоронный. Все с гвоздиками, завернутыми в газету. № 138 – для тех, кому не хватает на такси, на могилу, на цветы нормальные.

там над лесом туча мух
это умер винни-пух
видно меду перебрал
дознячка не рассчитал

Фрол был поэт. На колонне висел прејскурант ритуальных услуг и расписание. Жгли человека со смешной фамилией Хабло. И всяких других. Тетка из крематория, кажется, приторговывала цветочками с могил. Уважаемые родные и близкие безвременно усопшего (пауза, по бумажке) Фрола Жукова. Пожалуйста, пройдите в зал для прощания.

теперь он просто тушка
он больше не медведь
его больную душку
подлечит доктор смерть

Кто-то грустный, яростный, усаый, из лесопарков и подворотен, где мы орали от боли и красоты и не умирали в общем и целом. Какой-то такой человек. Разве я ему родной и близкий? Кто я, чтобы прощаться? Вместе пили разок, пели чуток. Я его и не помню толком, усопшего-то.

ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой

Ту, которая его любила, я встретил через пять лет. Расскажи, говорю, о Фроле. А она: – Черноволосый, черноглазый, с отпечатком черной ладони на спине. Нянечка в род-доме крестилась и убегала, отказываясь взять его на руки. В семье его потом была легенда, что это мама беременная едва не упала с лестницы, а папа ее поддержал. Покончил с собой на исходе октября. Не знаю точной даты, мы послезавтра наутро узнали. Вскрыл вены, вышел на лестничную клетку и звонил соседям. А они ему не открыли. Из-за того, что передумал и пытался, самоубийцей не считается.

Спасибо, говорю. Расскажи еще что-нибудь. А она:

– А еще он был весел, безумен, бесстрашен и бесстыден, в юности аскал и трахался на площади: «Бросьте монетку молодым, которым некуда пойти!»

Спасибо, говорю. Но я так и не понял, почему я просыпался с его именем. И почему той осенью все пытался его разглядеть. Но из третьего ряда видел только черные блестящие острые туфли, которые он вообще-то не носил, потому что черные блестящие острые туфли носят подонки. Из гроба торчали эти туфли и нос горбом.

громко плачет пятак
что ж ты винни дурачок
ни ворчалок ни сопилок

ТОЛЬКО КОМ ГНИЛЫХ ОПИЛОК

Закончили прощание. Мужчины, крышечку давайте. Завинчиваем, так. Фрола бросили в прямоугольную дыру, все подошли и туда заглянули. Тетке с бумажкой сунули денег, она подняла брови.

отброшены копыта
откинута коньки
печально смотрят в небо
стеклянные зрачки

Труба плюнула черным облаком – Фрол полетел. А я все хотел прибить полку, на которой не стояла неизданная книга его стихов, а полка все не прибивалась. Я воздел молоток в одном городе и ударил по пальцу в другом. Все как-то скукожилось и безвременно усопло, ага-ага. Вот, например, раньше был зуб снизу слева. А теперь там снизу слева пустота, и в нее влезает палец – болит, если промахнуться молотком. Вот так и Фрол.

ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой

Осень – это когда другие. А ты сидишь с пальцем во рту. И вспоминаешь нос горбом, отпечаток ладони.

винни умер в эфире только зуммер...
винни умер в эфире только зуммер...

Сто тридцать восьмой обратно – не то что сто тридцать восьмой туда. Обратно все уже выпили за здоровье своих мертвецов. Всем бы уже тепла и дальше жить. Один все кричал, что вот она, судьба, и обнимал чужую бабу, у которой умер кто-то не очень важный. Целовал ее в шапку, в пальто и просил у меня карандаш, записать телефончик. Но в карманах были только бумажный мусор и немного мелочи. 19 октября 1971 – 29 октября 2009. Бросьте монетку молодым, которым некуда пойти.

Стереометрия

– Купи куб мышей, – сказала мама, – Пиня голодный.

Маме не хватало человеческого тепла, и она взяла питона. Пиня жил в прямоугольной чугунной ванной объемом сто сорок четыре литра, мылись мы у соседки, а мама ее за это стригла. У соседки тоже не было мужа, были слабоумная дочь моих лет и лысый попугай на кухне, но она еще не потеряла надежду и хотела каре. Сложно все у взрослых, я и тогда не вникал, и сейчас не буду.

– Купи куб мышей, – сказала мама. – Или я сожгу твои книги.

Я часто представлял, что Пиню засосало в трубу, а потом вообще всех, и никто уже не мешает заниматься стереометрией.

Кормили его на последние деньги. Мама продала на дрова, что было, и пошла, наконец, редактором сайта для инвалидов. Следила, чтобы они не поубивали там друг друга при знакомстве.

«Инвалид третьей группы, пока не бессрочной. В тонусе держало и держит пристрастие к игре на басу, хочу поступить в эстрадно-джазовое училище».

«Инвалид первой группы с ампутацией обеих кистей рук и правой стопы. Курю, пью редко, наркотики не употребляю и ненавижу тех, кто употребляет их. Был женат, остальное при переписке».

«Инвалид первой группы, не хожу, деревенская, простая, одинокая, не хожу».

– Почти как я! – шептала мама и дула в кулак. – Почти как я.

Я закрывал глаза и вычислял в уме объем цилиндра с диаметром основания три километра и высотой до неба.

– Купи куб мышей, – сказала мама. Я надел три свитера и пошел.

Рынок был до горизонта. Сначала птичьи и звериные, змеиные ряды. Потом скот. У самой реки люди. От мороза все молчали. На прутьях застывало дыхание. Лишь собачницы спорили, когда сойдут снега и вернется солнце. Преобладала версия, что никогда.

В самом дальнем углу квартала живых и мертвых кормов сидела старуха. Старуха шептала:

– Мышки-малышки, мороженные мышки. Мышки-малышки, мороженные мышки.

Однажды мышь укусила Пиню, он их начал бояться, и мама, плача громче обычного, повышала ему самооценку – гладила и так далее. Мы перешли на мороженных, грели их на плите и шевелили потом палкой, имитируя жизнь. Пиня страдал и стал совсем вялый.

– Каких тебе, мальчик? – спросила старуха.

Змееныши едят новорожденных. Подростки – едва обросших мехом мышат. Взрослые – взрослых. Общее правило: корм должен быть такой же окружности, как питон. Я ткнул в нужных и дал деньги.

– Мало, – сказала старуха. – Подорожали. Придется отработать. Привыкай к жизни. Сложишь из них башню – один твой.

Для ледяного куба со стороной в локоть формула расчета объема – локоть на локоть на локоть. Площадь поверхности – шесть на локоть в квадрате. Это если грани ровные и из них не торчат хвосты и лапы. Площадь поверхности ледяного октаэдра, полного мертвых мышей, – два на локоть в квадрате на квадратный корень из трех. Додэкаэдра – три на локоть в квадрате на квадратный корень из пяти скобка открывается пять плюс два на квадратный корень из пяти скобка закрывается. Икосаэдра – пять на локоть в квадрате на квадратный корень из трех.

Я вернулся к ночи. Мама стояла в центре кухни, равноудаленно от всех стен, будто с линейкой высчитывала. Бутылка в руке была пуста ровно наполовину.

– Пиня помер, – сказала мама.

Я поставил куб и пошел к учебникам.

Наутро мама привела мужчину, сказала, что это Саня с сайта, что Саня похоронит Пиню и вообще будет помогать.

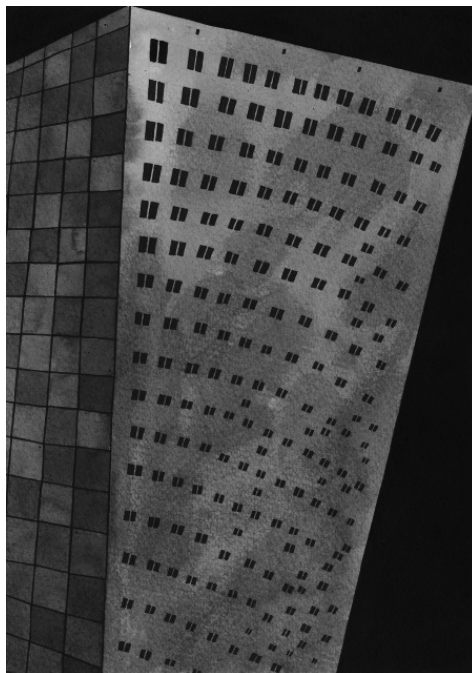
У Сани не было руки, он только путался и мычал, потому что был еще и немой, как я, и всю работу делали мы с мамой, долбили твердь лопатами, пихали туда коробку с питоном, но слишком давно все промерзло. И мы просто сунули Пиню в сугроб, все равно весна не скоро, если будет вообще.

Саня, как мог, погладил маму, а я пошел делать уроки. Губы дрожали. Главное – было не улыбаться. Я был счастлив. Счастлив на счастлив на счастлив. Я был так же счастлив лишь много лет спустя, когда выучил все объемы, все формулы, выучил все и все сдал, поступил, куда хотел, и вырвался, вырвался, вырвался отсюда.

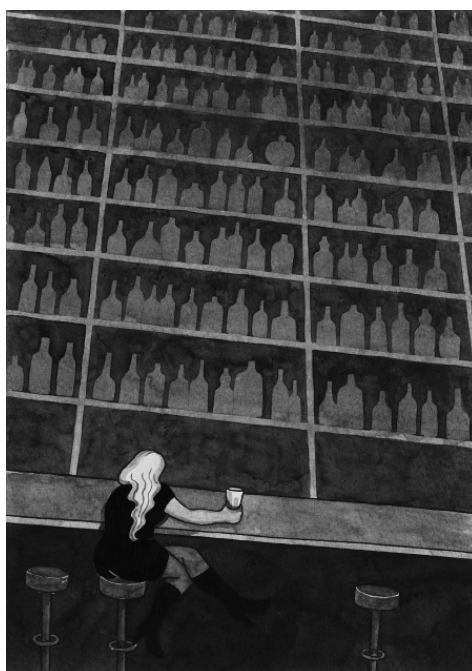
Азбука большого города

Читать ритмично

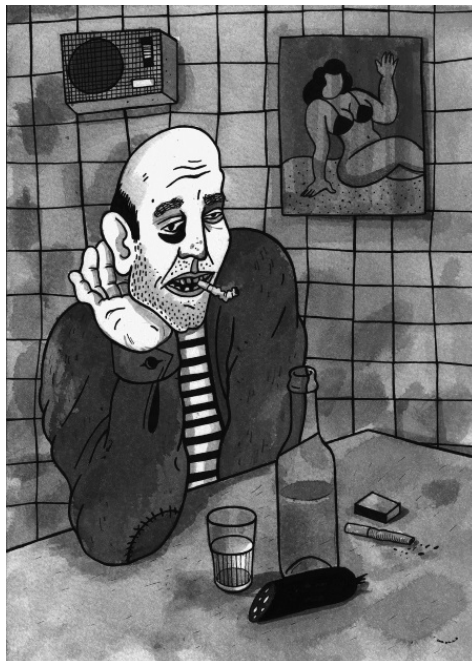
А. Ад. Тут – говорят – ад. Врут: никто не горит, не корчится. Ни миллион Александров. Ни полмиллиона Анастасий.



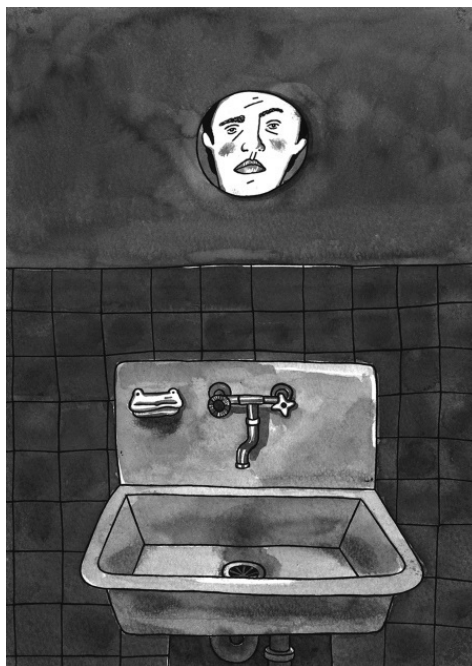
Б. Бар. Некоторые приходят в бар. Приходят, ну и ждут: что-то будет, может быть, но вряд ли. Чудо, драка, любовь. Что-то будет, может быть, но вряд ли. Музыка не та. Совсем. Не такая. Белла тоже любила бары: приходила, ну и ждала.



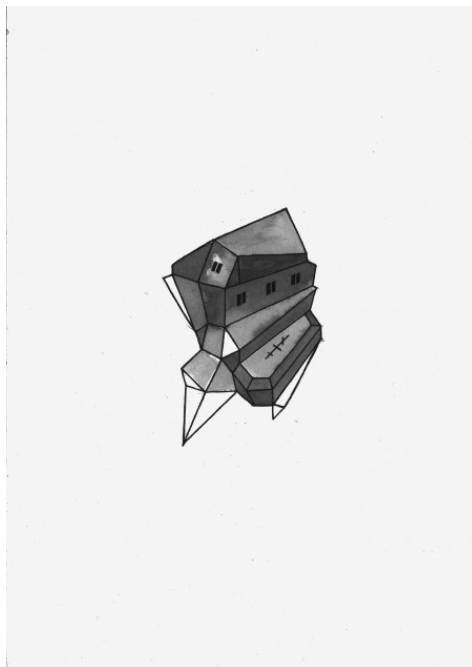
В. Все. Владимир пил дома, думая, что это его спасет. Да, Владимир пил дома, он был изобретатель. Смешивал водку с водкой, выходило ничего. Собутельники его закончились давно, он садился лицом к стене, закуривал, смешивал и говорил. «Вчера. Две. В одно лицо сделал. Одну. Сел. Выпил, скучно, мля, вторую, все».



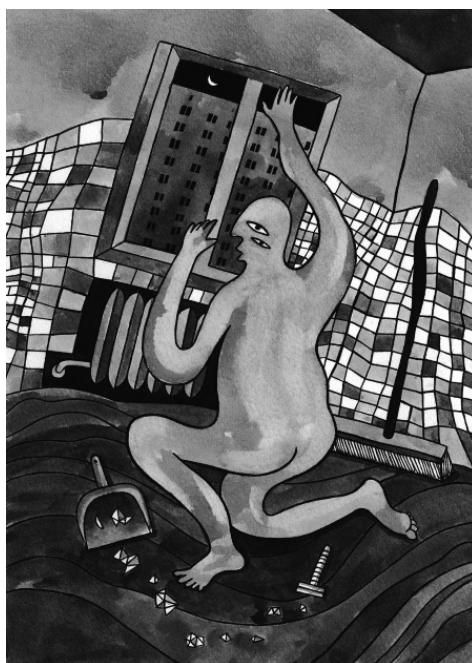
Г. Гол. Георгий, чтоб не умереть, играл в футбол. С гаражом, как правило, пнет – а мяч обратно, пнет – обратно. Еще он перед зеркалом искал морщины, пятна, щупал живот. Тело свое любил, ничего не пил, не курил, не тратил, боялся времени. Однажды гараж снесли, и, глядя на голую землю, – «гол» сказал Георгий, Георгий сказал «гол».



Д. Дом. Хорошо, когда умирает мама. Это дом. Или папа. Тоже дом. Бабушка. Дом. Если ближний, дом вам, иначе дом не добыть. А у дальних свои потомки, и дом им. Вот здешние и ждут чужой смерти. Целую жизнь. И нездешние ждут чужой смерти. Целую жизнь. Но одна мама здесь выгодней, чем пять мам там. Дмитрий стоял у гроба и думал, как ему повезло.



Е. Еще. Егор купил метлу, совок и бритву для прыщавых щек. Чистил все вокруг, скреб, царапал, стирал, как мог, украшал среду, подозревая, что все-таки он не на «Е», а на «А». То есть в аду.



Ж. Жом. Жанна придумала есть жом. Пощупала ноги, пощупала зад, поплакала, почесала глаза. В журнале писали, что надо есть жом, похудеешь сразу. Но не написали, что он

для скота вообще-то, зараза. Жанна все продала и купила жом. Тонну свекольного, гранулированного жом. Кухня вся в жоме, коридор в жоме, все вообще в нем. И теперь живут вдвоем девушка и жом. Тонна жом и толстая заплаканная девушка.



3. Зоб. А Зинаида пила из-под крана, и вырос зоб. Ела с пола, и выросло. Вот это самое выросло. Зоб. Огромный зоб. Брали врачи и прятали деньги, хихикали и не давали надежд – это был какой-то самый-самый злостный зоб. Наконец назвали сумму, чтоб резать. Но Зинаида пропала, никто не заметил куда. А потом из квартиры запахло чем-то неправильным и бесполезным. Так она и сидела на кухне, с ножом, в этом самом, в зобе, да, в зобе, да, в зобе, да, в зобе, да.



И. Ил. У Ивана были рыбы, он их любил. Тесно тут, не погуляешь тут, даже если ты человек. А рыбы удобны, с ними не надо гулять. Но ты умрешь медленно, если ты человек. А если ты рыба, то быстренько кверху пузом, и ну вонять. Иван подержал своих рыб в морозилке, хоронить повез. Ехал долго, а пригороды не кончались. А рыбы таяли: в морозилке-то не такой уж мороз. А дома остался ил. А пригороды не кончались.



Й. Йод. Помогает от зоба, и, говорят, от него встает. Йод. Надо, чтоб всюду был. И другие вещества. И йод. Надо, чтоб всюду был. И другие вещества. Человек с редким именем Йозеф ходил по магазинам, дергал ртом и спрашивал, содержится ли тут йод. Ему говорили: мужчина, вы тупой? Вы тупой, мужчина? Вот вам белки, жиры, углеводы, вот вам клетчатка и клейковина. А он такой: тварь, заглохни. Поговори еще мне тут. Заглохни. Поговори. Есть тут йод? Будет ли он у меня внутри?



К. Кот. Сначала глазки и хвостик, потом он сразу огромный и срет. В еду, одежду, технику. В только что купленную посуду. Ухмыляется, издевается, срет повсюду. Прыгает со шкафа и срет в прыжке. Жизнь зато занята. Жизнь зато сложилась. Вот Каринэ и взяла четырех котов одного за другим.



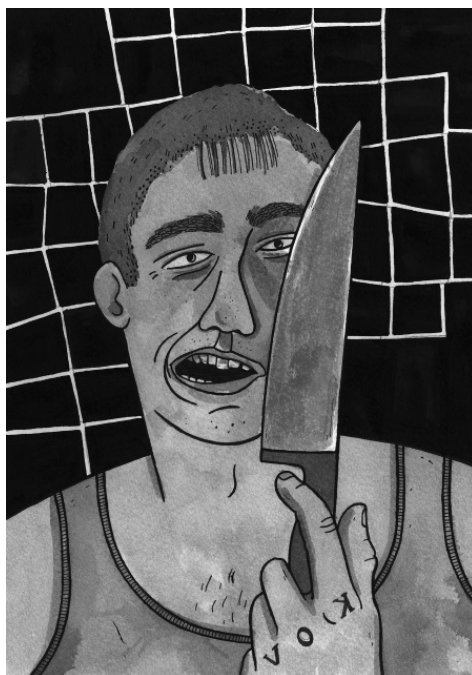
Л. Люк. А один – Леонидом звали – упал в люк. Тоже вот пошел за кошачьим кормом, в люк провалился и там застрял. Потому что ел мало йода и мало жома, лежал на боку, во рту и в задку ковырял, грустил от себя и совсем разжирел. Итак, пошел, упал, торчит он, стало быть, из люка – помогите, мол, люк, мол, люди, мол, помогите, суки. А все идут мимо, думают – ну дурак. Сутки он так проторчал. Сутки. Сверху люди, снизу мрак. Сверху люди, снизу мрак.



М. Медь. Михаилу некого было любить и не на кого смотреть. Он решил завести питомца: кристалл медного купороса. Повесил нитку в стакан с раствором, прищурился и стал ждать. Сначала не было ничего, потом вырос маленький, синий. Потом пришла к нему одна, вся такая из плавных линий, но в драном лифчике. И случайно разбила стакан с питомцем. Михаил собрал осколки, выбрал покрупней – дно оказалось – и этим дном стал ковыряться в ней. Стал ковырять ей лицо и тело. Та убежала, уползла, улетела, а он сел на пол, на кровь и купорос, прищурился и стал ждать.



Н. Нож. Ножом-то поудобней, подумал Николай.



О. Ось. Маленькой Ольге сказали, что у Земли есть ось. А у меня? Ну конечно (и мама тыкала в позвонки). Потом она выросла, Ольга, и ее перестали брать на руки. Потом все совсем устали – что ты вертишься, мол, надоела, мля. И Ольга тогда ложилась на пол и представляла, что она Земля. И что вот это на ней не синяки и прыщики, а города. И что она вертится, вертится и не остановится никогда.



П. План. Главное, чтобы был план. Вот у Павла что-то такое было, он на это всегда намекал. Запасной, говорил, вариант. Кое-что, говорил, про запас. Так подмигивал он, суеился, по пьянкам скакал. Вот пидарас, говорили. Вот пидарас. Но однажды что-то у него лопнуло в голове. И он лег на месте, город приняв за кровать. Подошли к нему – пьяный, что ли, валяется на траве? Сваливать, прошептал Павел. Сва-ли-вать.



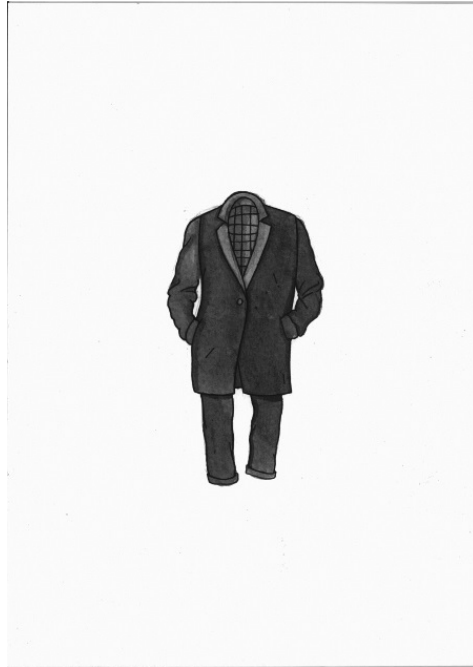
Р. Ритм. Некоторые думают, что есть ритм. Ищут какие-то сходства, какую-то последовательность во всем, искренне думают, будто рифмуется то да се. Вот и Раиса искала ритм, даже в студию пошла танцевать, дрыгала там ногами, но что-то у нее не выходило, ну то есть вообще. Плакала каждую ночь, кособокая дура, думала, тьфу, ну и пусть. Сволочи все, шептала, тыкала в стену горячий лоб. А сердце в ушах отдавалось, и это был такой хруст, будто пьяный упал в сугроб. Будто пьяный упал в сугроб.



С. Сон. Софья тоже никак не могла уснуть и думала про патиссон. Купила, не купила? Ну, купила, ну купила. А надо или не надо? Ну, не надо, нет, не надо. А зачем тогда купила? Ну, купила, раз купила. Но, наверное, хороший. Должен быть хорошим.



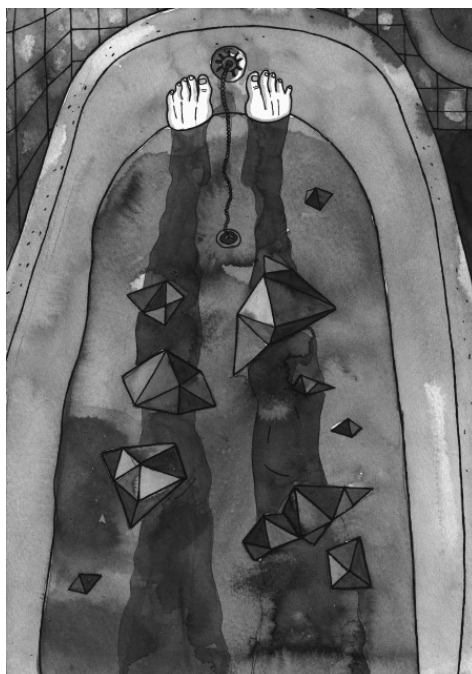
Т. Тон. Тимур купил штаны и много лет искал к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто.



У. Ус. У Ульяны вырос ус. Ну не то чтобы ус, а такой огромный волос. Вырос прямо на груди у Ульяны. У нее и так не очень с мужиками было, а тут он, ус, фу, гадость, он, ус. Но она не удаляла, ничего не трогала, все боялась, вырастет что-нибудь похуже. И она тогда совсем неприятной станет. Станет ей тогда совсем невозможно жить.

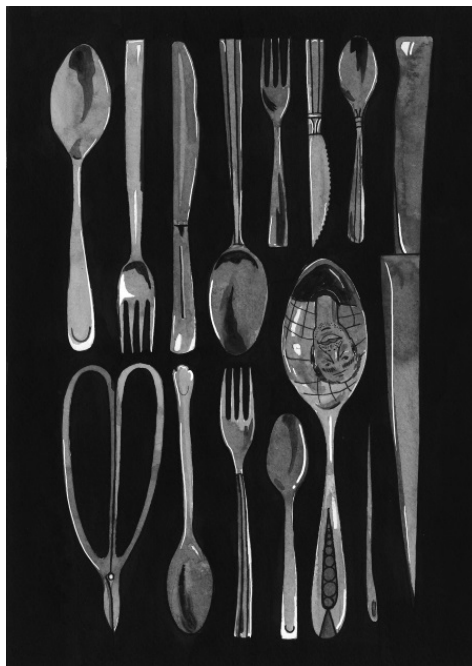


Ф. Флот. У Федора дедушка был капитан, а папа пилот. А сам он вырос какой-то мелкий, какой-то тупой совсем. Работал то здесь, то там, что-то водил, воровал, ненадолго сел. Но от папы был дом, а в доме ванна. И Федор пускал в нее корабли. Сделанные из хлеба, бумаги, бутылок и всякой фигни. Это мой флот, говорил Федор. Да, это мой флот. Полный вперед, говорил Федор. Полный вперед.



Х. Хром. Можно все им украсить, чтоб было как аэродром. Вот один человек, кажется, Харитон или как-то так, заработал тем, что сидел в духоте и чужие деньги считал. Он хромированный кран купил, хромированный душ, он покрыл покрывало хромом, при помощи хрома ел еду. Звал друзей посмотреть на роскошь, но никто не шел, справедливо считая его

мудаком. Да, никто не шел, Харитон тоже стал делать вид, что ни с кем незнаком. И теперь живут вдвоем Харитон и хром. Тонна хрома и обеспеченный, стареющий мужчина.



Ц. Царь. Тоже вот один ходил, говорил, что царь. Да какой ты царь, говорили ему, а он: а вот такой. А вот мое царство – и показывал царство рукой. Вот это вот все он показывал. Вот это вот все. И люди смеялись, и было похоже, будто ревет осел. А этот мужик даже имя себе сменил и стал по паспорту Царь. И глупая такая фамилия. Глупая такая фамилия.



Ч. Чек. Чарли работал рекламой, хотя учили их всех на врачей. Он в коричневой кепке приехал за счастьем, не догадываясь, что зря. Так стоял он, работал негром, то есть самим собой, долго стоял. Рекламирывал голых людей, стоял на льду. Вечером стало еще холодней,

и Чарли сказал на своем языке – где я, в каком я городе и году? Взял пива, потом еще и еще, потом вдруг начал душить кассиршу, что-то подумав на ее счет. Чек, он кричал, ты не пробилла мне чек, чек. Все удивились – пришел такой человек и чирикает человек.



Ш. Шум. Шура давно научился не реагировать на шум.



Щ. Щуп. Я так жесток к этим людям, что никогда себя не прощу. Вот человек по фамилии Щербаков был одинок бесконечно и что-то такое нашел. Это шуп, Щербаков, сказали ему. Щуп, Щербаков, для геологов, проверять, что там под нами. Но под нами и нет ничего – хоть по горло заройся в землю, а все города. И тогда он поставил шуп в угол, поставил он в угол его тогда, бабу привел, положил ее на пол, стал ее целовать, об нее тереться, а та ха-

ха, хи-хи. А он ее этим щупом. В полиции не знали, что написать, и написали почти стихи. Большое, мол, и окровавленное сверло, одна штука.

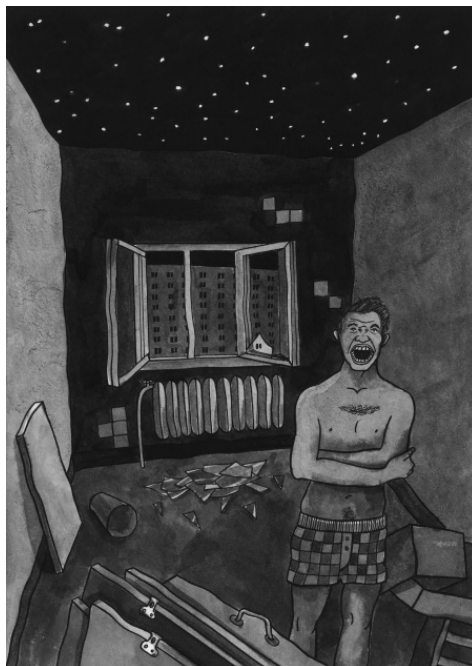


Ы. Ы. Ыыыыы. Ыыы! Ы!!

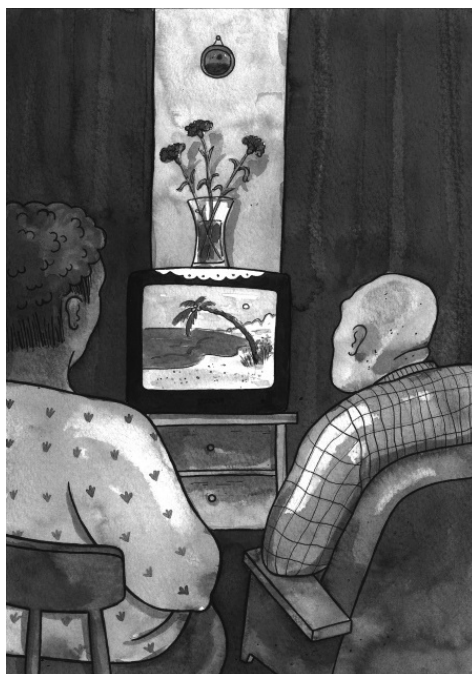


Э. Эхо. А воздух тут вязок. Ничто никому не ответит, кричи, не кричи. Один вот родился в горах, Эдуард, и ему стало тихо и больно, он-то горы любил, а вокруг одни кирпичи. Вначале визжал на улицах, но тихие люди кривили рожи, считая его дикарем. Тогда Эдуард затаился тоже. Перестал хохотать и прыгать, сложил губы в трубку и тихо в них дул. И однажды побрился, разделся, повесил штаны на стул, что-то там подумал, сломал стул,

порвал штаны, сломал стол, выбросил все из комнаты и частично сорвал обои. Встал среди полуголых стен и закричал. И эхо ответило.



Ю. Юг. Тут пересадка, тут все хотят на юг. И Юлия тоже хотела. И муж ее, Юрий, хотел. Там кормят, купают, не трогают. Там вообще нормально. Типа царствия небесного. Но без царя и без небес.



Я. Я. Я, я, я. Я тут это вот тоже вот ага. Я тут это вот и вот моя нога. Господи хороший, а вот и весь я. Выбери меня. А выбери меня. Вытяни меня.



Ars dolendi, наука скорби

1. Это рассказ о ребенке, и сам он подобен ребенку. То прыгает, обезумев, то рвет сам себя в клочки. Действие мечется из Москвы в Германию и обратно, а начинается в Мексике, в 1873 году.

Элиза Бернардина Отилия Делиус рожала четыре часа. Снаружи казалось, она не кричит, а гудит, как шмель. Франц Рудольф Флоренц Август Вильманнс недоумевал насчет кактуса: ни веточки, ни листочка. Молчал, потел, дремал под гудение.

Первенца назвали Карл, то есть никак. У купцов Вильманнсов был офис даже в Гонолулу, но шестилетнего Карла отправили в Бремен, чтобы вышел немец, а не маленький дикарь. Сидя под лестницей, глядя во тьму, нюхая сырость и слушая дождь, он впервые испытал ностальгию, которая убивает.

2. Детская тоска вековой давности подходила к Москве, как пуля к дулу, но сыщик этого не знал. Он смотрел на человека. Человека нашли в саду – маленького, голого, с изрезанной на квадраты спиной. Дырчатый перелом *os frontale*, то есть пуля в лоб. Ясная смерть. Но пугали квадраты: сетка запекшейся крови. Стояло пустое лето, пух летел, заметал раны. «Больше не могу», – сказал сыщик и чихнул.

3. Закончился и начался век, и в тридцать три доктор Карл Вильманнс установил, что дети убивают других детей. В третьем номере «Ежемесячника по криминальной психологии и реформе уголовного права» за 1906 год вышла его статья «Тоска по дому и импульсивное помешательство». Нет признаков, что она написана тем мальчиком из тьмы. Никто того мальчика больше не вспоминал, включая самого доктора Вильманнса. Он писал много и жил долго. Он пережил Гитлера, у которого диагностировал истерическое расстройство, пережил тяжелого невротика Геббельса и почти пережил Геринга, в котором распознал хронического морфиниста. Что с того, что Германия чокнулась, если ты профессор психиатрии в Гейдельберге и достаточно насиделся под лестницей.

4. Москва душила. Из носа текло, в гортани скребло, таблетки не помогали. Преступление – беспорядок (думал сыщик, запивая водкой гидрохлорид цетиризина). Но точные бритвенные надрезы, шахматная доска на спине мертвеца – нечто противоположное (думал сыщик, заедая гидрохлоридом цетиризина водку).

Кто-то так и живет в состоянии смутного недовольства, кто-то так и помрет, не разобравшись ни в чем. Но сыщику все было ясно. Он пил, горя по дому. Кровати в ряд. Шкафы в ряд. Столы в ряд. Кормили по расписанию. Раз в неделю, как по часам, кого-то били. Раз в год – в музей. На стене отпечаталась тень решетки, все играли в крестики-нолики. Детский дом. Хорошо. А потом – вдруг – свобода. Сыщик пошатнулся, сплюнул и расчертил мир заново: подозреваемый – обвиняемый – подсудимый – осужденный. И водка трижды в неделю, чтобы остаться в рамках. Так он решил, придумав себе в оправдание трудное прошлое и внутренний мир, хотя втайне подозревал, что нет никакого мира внутри, а есть молоток и отбивная котлета, и эта котлета – ты.

5. Вильманнс был мастер описывать голых детей. Он был их Босх и Дюрер. «Хрупкого сложения девочка хорошей упитанности. Еще детские формы, грудь мало развита, лобковые волосы скудные, подмышечные волосы едва намечены. Менструация еще не наступила. Аполлония С. проявила себя как чрезвычайно застенчивый и робкий ребенок».

Это живопись, а вот факты. Восемь братьев и сестер, третья, любимая дочь в семье каменотеса, работать начала поздно – в 13 отправили нянькой в соседнюю деревню. Желая поскорей вернуться домой, Аполлония С. дважды травила ребенка, к которому была приставлена, а позже бросила его в реку. «В воскресенье после белого воскресенья меня навестила моя сестра. Я сказала ей, что у меня тоска по дому. Она сказала, что я должна хорошо молиться и быть прилежной и послушной, тогда тоска по дому пройдет». В краткой исповеди Аполлонии С. выражение «тоска по дому» повторяется пятнадцать раз.

6. Новое тело – через неделю. Снова череп с дырой и голая спина в квадратах. Сыщик сравнивал фото. Кожа – трудный материал, но убийца учился. Квадраты рассекла диагональ, рисунок стал сложнее, он уже походил на чертеж, но шум и жара мешали понять, что начерчено. В соседнем кабинете ревели и спорили, кто смешней упадет со стула. В углу торчала искусственная пальма, все финики с нее оборвали. От компьютера пахло паленой пластмассой. На стене висела карта круглого города – бред, хаос, опухоль. Сыщик не связал два убийства в центре Москвы со смертями детей в позапрошлом веке. Потому что на юридическом не проходят доктора Вильманнса.

7. Пока будущий доктор Вильманнс плакал в Бремене, в Ольденбурге смеялся будущий доктор Ясперс. От Бремена до Ольденбурга – 29 километров, ровно как из конца в конец Москвы.

Это факты, а вот живопись. «Все детство я провел на Фрисландских островах и вырос на море, мои воспоминания начинаются с возраста 3–4 лет, когда я начал говорить, – рассказывает Ясперс за год до смерти, наполненный величием, как подушка пухом. – Однако в моих первых воспоминаниях не осталось моря. Запомнились только кустарники и дома. Через год-два как-то вечером отец взял меня за руку и повел на берег. Вниз, к морю. Был сильный отлив. Мы шли по свежему чистому берегу. Все дальше и дальше, насколько позволял отлив. Мы шли к воде, вокруг лежали медузы, морские звезды. Я был словно околдован. В первый раз я увидел море. Тогда я еще не думал о бесконечности».

Вскоре Ясперс поменял Ольденбург на Гейдельберг, где моря нет, но можно думать о бесконечности и сдавать по ней экзамены. Вдохновленный тоской по дому и работами Карла Вильманнса, в 1909 году он защитил диссертацию «Ностальгия и преступление», где описал десятки убийств детей детьми. Вместо слова *Nostalgie* – вероятно, слишком заграничного – он вслед за учителем использовал слово *Heimweh*, происходящее из швейцарского диалекта. Буквально – «тоска по дому».

8. Эксперт был косоглаз, кособок, испуган. Повертел фото, пожевал рот, почесал глаз и сказал:

– Шерше ля фам. Это баба.

– С чего бы баба? Они не убивают так, подряд. Могут спяну придушить, шилом ткнуть. Но не так.

– Се ля ви. Они уже за рулем. В правительстве. В космосе. Они уже убивают, как мы. 15 процентов серийных – женщины. Следов никаких, работа чиста, но тело – вот, а могла бы спрятать, Москва стоит на спрятанных покойниках. Нет, эта баба подает нам знак. Заигрывает с нами. Боюсь их.

Эксперт снял очки, плюнул на стекло, протер, извинился:

– Мильпардон, привычка. Ищите вашего монстра. Подозреваю, у него синие глаза и коса до попы. Бон вояж.

Вечером сыщик выпил еще водки и прочитал речь Эйлин Уорнос: ее изнасиловал дед, а потом она застрелила семь человек. «Меня переполняет ненависть. Я устала слышать про

себя, что я сумасшедшая. Я проходила освидетельствование много раз. Я не сумасшедшая, я нормальная. Я пытаюсь говорить правду. Я ненавижу человеческую жизнь и убивала бы снова».

9. Ясперс стал научным консультантом Гейдельбергской психиатрической лечебницы – той, где Вильманнс служил старшим врачом. Убивали, как правило, девочки. Убивали, как правило, грудных. Не было ненависти, но было желание вернуть утраченное.

«Роза Б. слабенькая, плохо развитая девушка, которая выглядит решительно младше своих лет. Строение ее черепа несколько маленькое и узкое. Явления паралича отсутствуют. Особо нужно подчеркнуть, что у нее были не очень выраженные, но отчетливые движения, подобные пляске святого Витта – подергивания мускулатуры лица и рук. Она производит детское, неопытное впечатление».

10. Москва круглая, и, блуждая по ней, по крюкам ее и переулкам, однажды обязательно вернешься на старт. В детском доме было все иначе – коридоры вдоль и поперек, никакого глупого кружения. Главный по порядку был учитель русского. Если кто-то писал «карова», он сначала ставил кол. Во второй раз – два кола. В третий – бил по руке и в лицо, чтобы пальцы и губы запомнили правило. Его уволили, когда сломал одному запястье. Его тащили по идеально прямому коридору, а он кричал умирающие слова:

– Поземка! Кургузый! Конволют!

Язык был его потерянным домом. Сыщик теперь понимал его, как блудный блудного. Он сидел, вспоминая – детские утраты прорастали сквозь взрослого, как трава сквозь труп. Телефон брякнул, сообщили о третьем теле.

11. Живое, не желая умирать, корчится и взывает не к жалости, но к еще более изобретательному убийству. Дети душили детей, жгли и топили, ломали кости. Все они – и жертвы, и те, другие – вероятно, кричали «мама». Кричали на всех языках мира, но в других странах не нашлось ни доктора Вильманнса, ни доктора Ясперса, ни прекрасного слова *Heimweh*.

«Иоганна Софи Филипп, 14-ти лет, деревенская девушка, ребенком была болезненной, сейчас слабой и золотушной конституции, долговязая. Узкое строение груди, сколиоз, увеличение щитовидной железы и левого века. У нее аскариды. Уже в течение продолжительного времени жалуется на слабость, чувство усталости, головную боль, особенно рано утром, когда встает; причем и всегда ей было «плохо и кружилась голова». Она была очень сонной, засыпала рано вечером и не могла утром встать. Менструация еще не началась. Срамные волосы начинают расти. Вокруг сосков несколько выпуклостей».

12. Сыщик не знал, что значит «конволют», но знал, что значит «раскалывать». Он бил людей по голове, представляя: колется череп, и всем загадкам конец. Бил не сильно, не до перелома *os frontale*, бил только из любви к порядку. Он мечтал, как перед ним посадят убийцу. Если это и правда женщина, он из вежливости сдержит силу удара. Но потом она все ему объяснит. Все объяснит. Он глядел на третьего мертвеца за месяц, он уже знал, на спине – карта, но не знал, куда по ней идти. Тер глаза и сопоставлял факты. Кровь (снотворное), кожа (резали по живому), дыра в голове (крупный калибр), следы колес. Все равно что собрать скелет курицы из найденных в мусорке огрызков. Не складывалось.

13. В Гейдельберге, на фабрике по переработке детских утрат в ученую степень, делали докторов шестьсот лет. То Ясперса, то Геббельса, то Ясперса, то Геббельса, одних докторов. Каждый сотый бракованный. То вдруг филолог рванет в рейхсминистры пропаганды, и никто уже не посмеет поставить ему диагноз. То психиатр обернется литератором, и останется потомкам бледное яблочко да бедненький домишко.

«Девушка странно трогательной бледности, «бледное яблочко», выросла в равнодушно прохладном окружении, ребенком пасла овец, имела склонность к одиночеству, часто плакала без причины. В 15 лет она пошла на службу няней. Несмотря на то что она находилась всего в часе ходьбы от дома, ее охватила сильнейшая тоска по дому, она забыла бедненький домишко, плохую еду, грубое поведение своих. Родной дом стал страной фей ее мыслей. От решения сбежать она отказалась из-за страха перед отцом. Печаль днем и бессонные ночи подорвали ее здоровье. Тогда она пришла к мысли: если ребенок умрет, ее как ненужную отошлют домой. Случайно она услышала в трактире, как люди болтали, что от серной кислоты умирают».

14. Сыщик был зол: не нашел, а попалась. Четвертый застрял в багажнике; так она и стояла: в одной руке сумочка, в другой нога мертвеца. Дома – мешок одноразовых скальпелей, пистолет с глушителем, шкаф сказочных платьев, пустой холодильник и полная библиотека. Кот, маленький и сильный, как его хозяйка, бросался под ноги и рычал, мешая обыску. Скука: знакомилась, приглашала, опаивала, стреляла, резала. Оставался неясен мотив.

– Ты чего убивала? Дура, что ли?

– Найдите хоть одну причину, чтобы не убивать.

– Ты, что ли, дура? Убивала-то чего?

– Вижу, у вас аллергия. Не волнуйтесь, это на жизнь. У вас гниют глаза и пауки в горле.

А я вот убиваю.

– На коже карта. Что за карта?

– *Dolendi modus, timendi non item*, – прошептала женщина. – Лишь для скорби есть граница, а для страха никакой. Плиний Младший, письма, книга восьмая.

Сыщик вознес кулак и опустил его. Вечером он выпил вдвое против обычного. И снились ему котлеты, и он кричал, хотя у котлет нет рта.

15. Важно помнить, что это – все это варево из мертвых тел – правда было. И есть. И было. «Она ударила ребенка около 10 раз кулаком по голове, в лицо, в нос и рот, после этого она взяла его из колыбели и дважды ударила затылком о землю. Поскольку ребенок наделал под себя, она очистила его и взяла новую рубашку. Вскоре она еще раз ударила ребенка в лицо; зажимала ему рот, а также схватила ребенка вокруг ребер и трясла его в колыбели. Неоднократно она высказывалась, что ее намерением было убийство ребенка, так как это казалось ей самым надежным средством уйти со службы».

16. Из изолятора она писала только ему. «Ваш град – помойка в форме колеса. А мой – казарма из квадратов. Вы спрашивали про карту. Лучше бы спросили, почему за маленького человека что-то решают, хотя он машет погремушкой и ревет, что уже большой. Почему нас увозят против воли, кормят против воли, трахают против воли и хоронят не там, где хочется. Лучше бы вы это спросили. На карте – кусок города, где я выросла и куда не вернусь, как свет не вернется в провода. Это место называется Пески. Тысячи лет назад там было море, дно поднялось, и ветер намет на трясине гигантскую дюну. Вдоль нее, в обход болот, шел тракт. Потом болота осушили, дюну срыли и расчертили по линейке город. И на бывших песках возвели казармы для саперов и артиллеристов. Там немного вещей, по которым действительно можно скучать, но скорбь моя выбрала форму тоски по дому, а я замолкаю, когда выбирает скорбь. Тут, в тюрьме, почти как там, в Петербурге: покой, порядок, сырость. Немного не хватает ветра с моря. Вам бы понравилось. Пожалуйста, проследите за котом. Вы же не хотите, чтобы у вас на совести висел кот. С приветом, убийца».

17. Слово dolor (герундий— dolendi) означает физическую боль, тоску, печаль, скорбь. Люди используют латынь в трудных случаях, когда перед ними – голый кишечник, дыра в голове или что-то подобное. Скорбь по родной деревне, 1 июня 1790 года Мария Луиза Зумпф, десяти лет, подожгла дом, где была служанкой. Наказание: 6 лет каторги. «Вместо теплого приема пороть там розгами, также во время срока наказания ежегодно 1 июня, как в день поджога, то же и при освобождении».

18. Сыщик читал последнее письмо. Лето кончилось. Таблетки были не нужны.

«Жаль, что вы тупой, – писала женщина. – А я хотела объясниться. Впрочем, я и сама без слов. Поможет ли нам Овидий? Он плохо переведен на русский, а в латыни вы явно не сильны. Но вы почитайте. Читайте.

Только представлю себе той ночи печальнейший образ,

Той, что в Граде была ночью последней моей.

Только лишь вспомню, как я со всем дорогим расставался, —

Льются слезы из глаз даже сейчас у меня.

Когда вы сами начнете убивать, все вам станет ясно. К сожалению, мужчин не сажают с женщинами, и мы закончим в разных колониях. Как там кот? Не давайте ему дешевого корма, вредно для почек. Без надежды на встречу. С приветом, убийца».

За спиной копошился город. Сыщик обернулся. Хорошо думать о бесконечности, если ты маленький Ясперс на взморье. Но ты отбивная с московской пропиской, и пусты твои думы. Пнуть бы окно, чтоб осколки вонзились в пейзаж, чтоб Москва завопила от боли, она же – скорбь. Но сыщик лишь подышал на стекло и сыграл сам с собой в крестики-нолики, пока облачко не растаяло.

– Пойдем пожрем, – сказал сыщик коту.

Песенка песенок

– Вот, написал. Вот рукопись, – сказал я старшему майору
Махрову. – Что дальше?
– Засунь ее себе в задницу.
«Рукопись, найденная в заднице»

Глава первая

1. Когда у Зацова умерла жена, он пошел по улице.

– Ага, – сказал он. – Ага. Скоро лето. В белых и золотых тряпках девушки побегут. Голые ноги, голые животы. Могу теперь трогать животы. Могу быть заново, со второй попытки счастлив.

Зацов ударился о здание, по большим глазам потекла кровь. На обочине таджик собирал оранжевые конусы.

– Там-там-там, – сказал таджик. – Там кафе. Можно съесть мясо и заказать женщину.

– Не, не надо, – сказал Зацов.

2. В городе ничего не случилось. Все клали новые дороги поверх старых. На пустыре, где Зацов некогда пил первое пиво, возвели дома. Жили в них все те же люди, все так же. Лежали в кроватях, гладкие кожей и равные длиной, как огурцы. Мужчины с женщинами, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Зацов лежал на полу, поворачивался на бок, говорил «а» и засовывал руку в рот.

3. Вот родословная Зацова.

Ицхак родил Наума, Наум родил Айзека и брата его с рассеченным нагайкой лбом, Айзек родил Блюму и сказал – будешь советским инженером, Блюма родила Ивана, и некоторое время Иваны рожали друг друга. Потом снова стало можно, и родился Зацов. Только он теперь никого не родит.

4. От жизни осталась трехкомнатная квартира со смешным тараканом под плинтусом. Зацов напряг тело. Чтобы совсем не зарастить смертью, он решил сдавать жилплощадь.

По объявлению приходили какие-то люди. Пришел человек из пригорода, с серыми глазами и мелкими серыми зубами.

– Знаете, – сказал он, – у нас меж двух заводов продолжительность жизни сорок лет.

– Знаю, – сказал Зацов.

– Везде свинец. У меня кровь запеклась в ушах, не могу спать.

– Знаю, – сказал Зацов.

– Столько-то вас устроит?

– Знаю, – сказал Зацов.

– Может, во мне рак размером с кулак. Скиньте немного. Все равно завтра в урну.

– Уйдите, – сказал Зацов. – Я слишком часто знаю.

5. – Нет, я буду писать. Я интеллигент, – сказал Зацов. Он стал искать слова на пробу. – Кресло. Кресло. Стол. Яблоко. Лампа. Холодно. Язык.

Он посмотрел в зеркало, но лицо было похоже не на лицо, а на какие-то предметы.

6. Зацовер сдал комнату человеку по имени Энди Свищ. Они сели писать роман наперегонки. Однажды сосед залил кровью стол, стул и пишущую машинку. Рухнул на клавиши, поранил лоб и губы, погнул букву «т».

– Я, наверно, победил, – сказал Зацовер. – На окровавленной машинке много не напишешь.

Сосед отмыл машинку в раковине, но получилось плохо:

бы ь или нееее бы ь аков вопрос дос ойно ль смиря ься под ударами судьбы иль надо оказа ь сопро ивленьееее

7. Однажды Зацовер включил пылесос и заплакал. После этого его стали называть «ребе Зацовер».

8. Энди Свищ показал кусок романа.

«Пареееень был разносчиком пиццы, а при ворялся разносчиком смееертеельной разновиднос и гриппа. Лучше ак, чем наоборо. Чувак казался сильным. Я дос ал свой сорок пьый – всегда со мной, подруга! – а Спарки, черный, как клевая немеееецкая ачка, приго овил кас еее. Все замееееерло».

– В слове «кастет» много неподходящих букв, – сказал ребе Зацовер. – Знаешь, это главная беда: много неподходящих букв.

9. Однажды Энди Свищ натянул свою бешеную желтую шапочку по самый рот и пошел в кабак – запивать жизнь. Был полдень, воскресенье. Ребе Зацовер стал будить Анну-Алину, потому что с некоторых пор не мог быть один, а она носила такую полупрозрачную ночную рубашку, из которой все торчит и трепещет.

Анна-Алина почти написала диссертацию на тему «Метафизика хлыста и воли», потом что-то в ней хрустнуло, и она устроилась вагоновожатой.

– Сплю, – сказала Анна-Алина через дверь.

Анна-Алина была блондинка, впрочем нет, брюнетка с крупным носом, тонкими руками и ногами, в точности как любил ребе Зацовер, когда еще любил. Она делала в комнате что-то трамвайное и не выходила.

10. Да нет, никакой Анны-Алины не было, никого кроме них с Энди не было, ребе Зацовер все придумал, за закрытой дверью была их бывшая спальня, книги жены и ее вещи, ее штучки, ее набор трусов с героями Союзмультфильма, ее зеленый велосипед. Ребе Зацовер поставил замок, запер дверь и забыл, куда положил ключ. Иногда смеялся без веселья, иногда молчал.

– Что-то в моей жизни машинальное, машинальное что-то в моей жизни, – сказал ребе Зацовер.

– Надо жахнуть, а потом еще жахнуть, – сказал Энди Свищ и предложил водки.

11. Иногда ребе Зацовер гулял. Он выбирал квадрат и гулял по квадрату. Цвела черемуха, район оброс словами. Все строили и строили. Быстрые подростки писали на строительных заборах: «долой фашизм», «пофиг на нацию». В соседнем дворе обижались и писали поверх: «долой иудаизм», «пофиг на нацию черножопых».

Однажды Энди Свища поймали фашисты и выбили ему много зубов. Он стал похож на пишущую машинку. Это были те самые парни из детского сада, у которых он, злой школьник, отнимал жвачку.

– Эфо фамое непияфное, – сказал Энди Свищ.

– Смешно, – сказал Зацовер, – хожу живой еврей, а бьют тебя.

– Пофому фо вы вфе фкоты, – сказал Энди Свищ.

12. Ребе Зацовер сказал:

– Я написал роман. Всем романам роман. Некоторых людей смастерили только для того, чтоб они встали во фронт и записались в герои моего романа. Идет такой Хрен Хреных. Мысленно стучит по ступеням шпорами. Представляет, что сделает с женой и дочерью, когда вернется с работы. Кладет ладонь на дверь, толкает. А там вместо двора-колодца – а ничего. Я еще не придумал. Так и живут. Сжимают в руках мясо ближнего своего. Облизывают в полусне горькие губы. Некоторые даже любят детей и ходят в музей посмотреть на квадрат Малевича. Глядят: квадрат. А за ним – а ничего. Малевич не придумал. Смертная жизнь. Сами себя опишите с ног до головы. Что скажешь, Энди?

– Дерьмо роман. Мало наркоты и приключений.

13. Еще Энди Свищ сказал:

– Слушай, только двадцать процентов женщин любят минет. Ты понимаешь, только каждая пятая телка любит сосать. Остальные делают это через силу. Я не хочу, чтобы мне сосали через силу. Я уважаю женщин.

– Уважения мало, борись за их права, – сказал ребе Зацовер.

– А вообще нам нужна телка. Просто чтобы рядом была. Без женщины мужчина превращается в ничто.

14. Ребе Зацовер опустошил запретную спальню, а вещи жены сложил в четыре пакета и расставил по углам. Он почувствовал себя в заброшенном магазине. Он обнял зеленый велосипед и лег рядом с ним. И почувствовал себя в заброшенном театре. Лучше магазин.

15. И въехала незнакомка Таисия, и молча поставила рыжий чемодан, и уснула. От нее пахло цветами и водкой.

– Она как та девчонка постарше, на которую посматривал, а подкатить не решался. Как та кофейная попутчица в лазоревой футболке, в поезде с юга на север. Совокупный образ всех барышень, о коих грезил в полусне, – поэтично сказал Энди Свищ.

А ребе Зацовер подумал, что незнакомка Таисия будет лежать там, где лежала жена, и его улыбка стала запятой.

16. Незнакомка Таисия вытащила пачку рваных, но крупных купюр и отправила Энди Свища вставить зубы. А Зацовера посадила рядом, перед пустым экраном.

– Вот у вас обычный трубко-лучевой кинескоп, корейский, – сказала незнакомка Таисия. – А половина страны мечтает о таком же, но жидко-кристаллическом, плоском, как небо. Что скажешь?

– А другая половина – сказал ребе Зацовер, – именно о таком, как у нас, мечтает. Потому что в их зассанных домах стоит черно-белый ящик «Радуга».

– Но показывают-то одно и то же. Можно даже сказать – и вовсе ничего не показывают.

– Без телевизора все равно хуже. Придется друг на друга смотреть.

– А половина людей не хочет лица ближнего. Им бы красивые пятна на киноплёнке.

– А другой половине – хоть что-нибудь без гноящейся раны и бельма.

– Давай дружить, – сказала незнакомка Таисия. – Я принесу водки.

17. Однажды они выпили еще водки и деньги кончились. Энди Свищ опять истекал кровью – но нежно, с балкона, на «Жигули» с разорванным капотом. Таисия зажгла длинную макаронину и сделала вид, что курит.

– Это предпоследняя макаронина, – сказал ребе Зацовер. – Дальше только пшено и пельмени, они огнеупорны. А потом все.

– Никогда не говори «все». Потом будет еще кое-что, – сказала Таисия. – Мне было трудно, меня трогали четверо у забора. Но вот я здесь.

– Мне тоже трудно. Я хочу ничего не делать, только жрать овощи и спать на солнце! – сказал Энди Свищ и сел на стол. – Можно же? Можно? Моя высокая культура речи и быта – это маскировка. Я же школы не закончил. И кровотоку на чужие «Жигули». А мог бы – на собрание сочинений Шкловского. Или на свое собрание сочинений.

– Пойдемте спать. Скорей бы похмелье – почувствовать, что живой.

18. Однажды ребе Зацовер остался один, полез на шкаф и достал сумку и снова стал просто Зацовером. В сумке были всякие вещи. Искусственный кот. Эстонская книжка про каких-то психов. На дне Зацовер нашел глупый желтый пистолет, стреляющий полыми шариками из пластмассы.

Зацовер подумал.

Впрочем, просто подождал.

Засунул пистолет в рот и выстрелил.

– Бог превращает страшное в игрушечное, – сказал Зацовер, выплюнув шарик. – А иногда наоборот.

Глава вторая

1. Еще Таисия показала рыжий чемодан.

– Знаете, что там?

– Знаю, – сказал Энди, – оружие и кокаин. И запасной лифчик. Синий в оранжевый горох.

– Мы живем бок о бок черт-те сколько, твои волосы вмылились в мое мыло, а ты до сих пор не знаешь, какие лифчики носят настоящие женщины. Там костюм красной белки.

Она раскрыла чемодан, и в чемодане был костюм красной белки.

– Вам бы тоже подходящую одежку, товарищи. Мы поедем в райцентр. К дядьке.

– У тебя дядька?

– Это некий общий дядька. Очень важный.

2. Однажды электричка была полна измученных женщин. Энди стал кадрить попутчиц.

– Милая! У вас и груди, и глаза круглые. Откуда вы такая красавица?

– Пошел на хуй, ебанный в рот, – ответила женщина голосом покойника.

Энди загрустил.

– Расскажи чего-нибудь, – попросил он.

– Хорошо, – сказал Зацовер. – Одна девочка, приятная такая, с длинной белой косой, попала в беду. В городе был большой пожар, огонь падал с неба, и вся семья у ней погибла, все сгорели огнем. Шла она по дороге, плакала и хохотала. А навстречу ей добрый мужик, в пиджаке и в рубашечке. Пожалел он девочку и дал ей деревянную чурку. «Вот тебе новые папа и мама, вот тебе новый дом, вот тебе новый пес Полкан». Девочка обняла чурку, надела на нее вязаную шапку, засмеялась, взяла пулемет и убила всех, а потом упала в озеро и утонула. Те, что остались, стали думать. Решили, что, наверно, в чурке содержались отравляющие вещества, что, наверно, от них девочка сошла с ума, в следующий раз надо будет дать ей, наверно, другую, экологически чистую игрушку.

3. Почти уж ночью Зацвер, Энди и Таисия вошли в райцентр. Заколоченные дома не отбрасывали тени. У фонаря стоял коротко стриженный человек и рассматривал пустой шприц.

По улице вихляли серые автомобили, в них орали, и бил барабан. В конце аллеи искалеченных тополей стоял сарай с лампочкой. Это был дом культуры. Энди прищурился и прочитал нараспев:

– Вокальная студия «Солист». Клуб для пожилых «Вторая молодость». Шахматный клуб «Ладья». Театральная студия «Фантазеры». Весело живут – умереть забыли!

– Это место, полное значений, – сказала Таисия и облизнула рот. – Днем тут руководит хорошая женщина, она пыталась дать нам взятку блинами с мясом.

– Зачем взятку?

– Просто, а вдруг. А ночью здесь дядька.

4. И вошли они в кинозал с вывороченными деревянными креслами. У потолка вполсилы трещали лампы.

– Однажды тут снова покажут кино, – сказала Таисия и хихикнула, – большой корабль пальнет по большому дому, каменные звери оживут от ужаса, и на ступени рухнет женщина с расколотым лицом. И все под музыку.

Зацвер посмотрел на Таисию и увидел, что даже в желтом свете у нее совершенно белая шея.

– Я тоже люблю кино. Больше жизни. И я думаю, – сказал он, – здесь покажут яблоки. Красивые толстые яблоки под дождем. Долго. И под музыку, черт подери.

5. Кресла вздрогнули, на свет выполз мужчина. Он был грязно-рыжий, как нечищенная морковь. Правая рука запуталась в бороде. В белых глазах трепыхались зрачки.

– Здравствуй, дядька Витька, – сказала Таисия и поклонилась мужчине в ноги. – Я тебе привела вот двоих. Их бы приодеть.

– Что, не сволочи? – спросил мужчина. – А то был тут один – так сволочь. Я ему в рыло дал, пусть катается по свету. Отвечайте вежливо.

– Мы не сволочи. Я Зацвер.

– Кто такой?

– Одинокый человек умственного безделья, – сказал Зацвер и скривился. – А вы кто такой?

– Что, сектант какой-то или русский мыслитель? А то у меня изжога от всей этой поебени, – сказал Энди Свищ.

– Нет, – сказал рыжий мужчина, и его взгляд встал, – Я портной. Я здесь давно живу, при доме культуры. Нахватався. Шил костюмы для утренников. Видел Снегурочку изнутри. Деда Мороза без портков. Жил и шил. Шил и жил. Вот теперь и для вас кое-что сделал. Такая одежда, что вы сразу в ней кем надо будете. Только вначале проповедь. Таська, посади товарищей.

6. И сказал дядька Витька:

– В храме божием бывали? Кругом источники света. Но темно, как под юбкой. Жарят отличные песни. Но никто не подпевает. Вроде Пасха давно прошла и больше не будет, но на улицу не хочется – некуда. Толпа и пустота. И вдруг ты слышишь странный звук: дышат люди. Думают о всяком дерьме, но дышат в лад. Батюшка пьяный придурок, а дьякон спит с выдуманной овцой, но и они дышат, хриплый у них вдох-выдох. Ты чувствуешь кожей и ухом, как душно кругом и надышано. Понял, да? Вот сейчас с тобой то же самое происходит, пока еще не самое важное, но жить уже погорячей. Время скрутило твое слабое брюхо. Вроде

жизнь была – будто полон рот мягкой бумаги, годы царапали горло. А сейчас чувствуешь: кругом уже живые люди. Дышат. И минуты ползут, как вши по яйцам. И тебе больно, ай больно, ай больно, блядь, тебе становится за все бездарное и пустое, и ты ешь ладони от боли. Доброе утро. Конец теоретической части.

Рыжий мужик перекрестился и добавил буднично:

– Было дело, девочка сняла с вас мерки, пока вы лежали от водки. Дары готовы, в подсобке заберете. Как наденете – сразу полдела, все прояснится. В карманах там веселые штуковины. Бог создал удивительных и всяких тварей, а товарищ Макаров придумал так, чтобы все были одинаково мертвые. Не слишком-то бабахайте. А теперь уходите в город, – сказал дядька Витька, махнул головой и пропал под мебель.

7. У Энди оказался костюм бутерброда с веселым соевым мясом. У Зацовева – костюм небоскреба с человеческими глазами. В карманах лежало по пистолету системы «макаров» – Таисия сказала, у нее такой же.

8. Утром райцентр был тих. Зацовева шел и чувствовал во рту загадочный металл. Солнце обнажило кривые дома и пустые кусты. Луч упал на рекламный щит в три человеческих роста – нарисованная от руки Золушка с глазами разного размера. По Золушке ползли слова с развратными завитушками: «Тут не так-то просто взять вот так вот и поменять вот так вот свою жизнь резко и внезапно. Мы тут зажаты в рамках маленького пространства, где прошлые неудачи нам постоянно припоминаются в совершенно неожиданных ситуациях. Знай и люби свой город». Ниже, мелкими буквами: «По заказу районной администрации». Еще ниже, старательной детской рукой: «Дед Мороз и Снегурочка – хуй и пизда».

Зацовева, Энди и Таисия медленно шли к станции, почти счастливые от бессонницы и бессмыслицы.

– У меня есть двести миллилитров водки, – сказал Энди Свищ и достал из ниоткуда бутылку. – Выпьем за то, чтобы однажды проснуться в кино.

Они выпили водки, и жизнь сделала еще один круг.

9. Электричка смердела все так же и была, кажется, все та же.

– С тебя притча, Зацовева, – сказала Таисия. – Коротенькая.

Зацовева сказал:

– Встретились как-то раз Гамлет, Фауст и герои итальянских опер, такие, знаете, в сюртуках и жабо. И начали разговаривать. «Не грузи», – сказал Гамлет призраку. «Не еби мозги», – сказал Фауст пуделю. «Relax, take it easy», – спела Сюзанна, и Фигаро смолчал. А дальше ничего не было, ни трагедии, ни комедии, ничего.

Если я когда-нибудь спою так же, выстрелите мне в рот, пожалуйста.

Зацовева решил, что слишком много думает о своем теле, и начал думать о телах других людей.

Вскоре все кое-как уснули, и поезд качал их.

Глава третья

1. Однажды Пандоплеву разбили голову балалайкой. Много лет он носил злой шрам поперек лица. Исполняющий обязанности заместителя начальника руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу младший советник юстиции Олег Пандоплев, так называлась его должность, и все было правдой, но где-то на полпути терялся смысл. Когда приезжало начальство, Пандоплев прятался в синий мундир с некоторым количеством

фальшивых звезд. В остальное время надевал рубашку в тонкую полоску, пальто в елочку, клетчатый шарф и предпочитал рябить. В ведомстве не помнили его лица и даже шрама не помнили.

2. В городе все клали новые дороги поверх старых, и на обочине человек-пончик подрался с человеком-грузином: не поделили рекламный рынок. Уроды толкали друг друга в плюшевую грудь.

– Мы должны научиться вести себя так же, – сказала Таисия. – Смотрите, как они шевелятся, как прохаживаются, как пробуют почесаться, как им жарко в жару и холодно в холод, как они раздают свои поганые буклеты, проспекты и флаеры. Они самые обездоленные. Знаете, сколько они в час получают? Ходячее унижение улиц, пролетариат рекламы.

– Что-то в моей жизни машинальное, машинальное что-то в моей жизни, – сказал Зацовер. – А впрочем, не такое уж и машинальное. Я видел людей победней и видел побогаче, но к чему нам эти ряженые?

– Мы будем под их личиной. Так говорят в кино. Так хочет Энди. Так правильно.

– Просто сценарий моей жизни написал какой-то еще больший дебил, чем я. Надо жахнуть, – сказал Энди Свищ.

– Тебе надо научиться стрелять, как машина, и двигаться, как зверь, а пить ты уже умеешь, – сказала Таисия.

3. Однажды Пандоплев купил зеленоватый учебник геометрии для седьмого класса и стал вспоминать теорему Пифагора. Много лет назад Пандоплев изрисовал такой же учебник схематичным изображением пениса. Уже тогда смыслы и желания терялись по дороге – маленький Олег заканчивал очередную головку, принимался за тестикулы и проваливался в какое-то пахнущее мелом пустое помещение. Безликая мать, у которой не хватало кусочка левого мизинца, говорила, что Пифагор нужный, потому что грек. И у них, говорила мать, тоже греческая фамилия. Но одноклассники зачем-то рифмовали ее с соплями. А учитель узнал, кто рисовал в учебнике, и пнул Пандоплева ногой в рот. Пандоплев решил стать очень сильным человеком.

4. Однажды в доме не хватало зеркал. Зацовер ударил отражение кулаком, и каждому досталось по осколку.

Зацовер глядел на куски себя и трогал лицо красной рукой.

– Думаю, этим зеркалом можно перерезать горло.

– Да им даже не пробьешь башку, – сказал Энди и шлепнул себя по заду. – Хорошо сидит.

Зацовер был в костюме небоскреба с человеческими глазами, Энди в костюме бутерброда с веселым соевым мясом, Таисия – в костюме красной белки. Они смотрели в осколки, а полые головы стояли рядом.

– Надеваем, – сказала Таисия. – А потом я оближу кровь с твоего кулака.

Зацовер посмотрел на Таисию и увидел, что она серьезная, как собственная фотография на паспорт, но красивая, как дом. Потом он увидел морду красной белки.

5. Пандоплев давно знал из книг, что мастурбация безвредна, но много лет назад ему объяснили, что если он будет себя тешить, то сгорит изнутри. В кабинете у младшего советника юстиции были лампы, вешалки и папки, а в углу одинокая гантеля, с ней Пандоплев сжимал и разжимал свои некрасивые мускулы. Он до сих пор любил геометрию, но боялся больших собак и сгореть.

6. – О чем мечтаете, товарищи? – спросила Таисия, и голос ее был глух от плюша, и ветер человеческой речи странно дул из-под красной меховой морды с накладными усами.

– Я мечтаю знаешь о чем? Вот я в баре, кругом титьки и рок. Тут подсаживается дьявол и говорит: «Давай ты мне душу, а я тебе кадиллак ирисок». А я ему – спокойно так, с удовольствием: «Хуй соси, сатана, моя душа подороже!»

– А я когда-то мечтал написать великий роман или снять великий фильм. Лишь бы что великое. А на пороге славы незаметно умереть во сне. Вот я тихо гибну в высокогорной аварии, в расписном фургоне, по дороге в Канны. Главное – не успеть заметить смерть, чтобы без страха мук. А сейчас я и не знаю, вроде и не страшно уже.

– А я всегда мечтала грабить бесов в компании ангелов. Угадайте, чья мечта осуществится прямо сейчас?

7. Пандоплев надел пальто, но никуда не пошел, а взял карандаш и стал не без удовольствия смотреть в стену.

8. Трое подошли к магазину. Зацовер сунул руку в карман и почувствовал себя полным идиотом.

– А магазин – злой? – спросил он.

– Конечно, злой, – сказала Таисия. – Там кефир с послезавтрашней датой. Там все перепутано и гниет. На зарплату продавщицы можно купить сто бутылок водки, но водкой не обрадуешь детей, им бы мяч. Начнем с магазина. Там охранником пенсионер, и он спит. Камер нет. Такое специальное место для любителей пострелять в воздух. Наш полигон.

Энди серьезно кивнул и попробовал слюнуть, но кончилась слюна.

9. – Ка-ран-даш! – сказал Пандоплев.

10. И вошли они в большой дом, полный съестного.

Немногочисленные люди, похожие на утопленников, брали корзины из металлических прутьев, засовывали туда продукты, расплачивались, засовывали продукты в пакет, жмурились от вечной внутренней боли и уходили прочь.

– Ты не дурак поговорить, – сказала красная белка, – может, поговоришь с ними?

– Друзья, – крикнул небоскреб с человеческими глазами, и кто-то обернулся. – Вы не смейтесь, но я немного про Иисуса Христа. Слушайте! Его правда очень любили люди, даже сытые палестинские девы были готовы на все, а сам он любил оливки: ведро мог съесть. Не ту гадость, что сейчас, а настоящие, изумрудные. Огромные оливки любил Иисус. Он бы так и жил и так бы и умер, не замораживаясь воскреснуть, благо место на небесах ему-то было обеспечено. Но он взял товарищей – целую дюжину. И он пошел в ближайший храм – у них там в храмах торговали, как и тут. Потом он топнул ногой для уверенности и сказал: слушай, народ Израиля! Это ограбление.

Небоскреб с человеческими глазами поднял прямую руку и выстрелил в потолок.

Бутерброд с веселым соевым мясом выстрелил в лампу дневного света и со второго раз папал.

Красная белка стала прыгать по консервным рядам и хохотать.

Они забрали деньги из кассы, пропали, и все закончилось.

11. Какой-то очень неприятный человек принес Пандоплеву бумаги. Пандоплев некоторое время читал и двигал слабыми губами.

– Уйдите, – сказал он.

Олег достал гантелю, погладил ее, положил на место, достал учебник геометрии, полистал, потянулся к карандашу и вспомнил, как в детском саду было страшно и непонятно.

– Что я скажу? – закричал он и укусил ладонь – Что я напишу? Что подошьют к делу? Что разбойное нападение совершили бутерброд, небоскреб и белка?

12. Однажды потные люди в глупых костюмах сидели на полу, считали деньги и пересчитывали их. Получилось довольно много тысяч с копейками.

Зацовер зажал в кулаке букет из банкнот и нюхал деньги: они пахли людьми, многие из которых были женщинами.

Таисия собрала деньги и распихала по карманам.

– Куда это? А водка? А стул нам новый?

– В психушку. В детское отделение. У них по нормативам одна зимняя куртка на две койки и один шарф на четыре. Ходят гулять по очереди. Наберу им шмоток, вышлю до вос-
требования, а детям скажут – Дед Мороз.

– Ты гуманист, Таисия. Я бы пропил все. Трудно было бы, но пропил бы почти все. А на остатки издал бы роман в твердом переплете.

– Тут не хватит на роман. Остатков хватит мне на лифчик. Синий в оранжевый горох. А ты, голимый, чай пей. Ты же только из магазина, догадался бы взять ящик чего-то вкусного.

– Еще! – сказал Зацовер.

Глава четвертая

1. Когда у Зацовера умерла жена, он сначала ходил мертвый, как маятник, а потом живой, как заводной мышонок, но жизнь возвращалась – кажется, в руку, которая иногда держала пистолет.

– Макдоналдс, – сказала Таисия.

– Почему?

– Охраны там отродясь не было. Камер полно, но все на прилавок: хозяева следят, чтобы работник не положил в гамбургер свой член вместо куска салата.

– Откуда ты знаешь?

– В трудной стране одинокая женщина должна знать всякие вещи, чтобы повернуть мир нужной задницей вверх! – сказала Таисия. – Это афоризм, запишите.

– Мне, пожалуйста, двойной гамбургер, среднюю картошку, колу без льда и все ваши деньги, – сказал Зацовер.

– Ты, кажется, приходишь в себя, – сказала Таисия.

– Да. Давай. Давай постреляем.

2. – Ка-ран-даш! – сказал Пандоплев. – Ка-ран-даш! Карандаш.

3. Когда развороченная гора гамбургеров осталась позади и крики отзвучали, разбойников в глупых костюмах догнал человек. У него было светлое лицо и синие глаза, как будто нарисованные слабоумным на потерянной матрешке.

– Только не убивайте меня, а я расскажу историю!

– Мы никого не убиваем. Жизнь священна, хоть никакая, всякая.

– Так слушайте. Я никто, и зовут меня Петя. Я много недель жил у них, в Макдоналдсе. Днем притворялся клиентом. Подъедал картошку за настоящими клиентами. Мясо я не ем. Колу пью умеренно. По ночам я дремал в туалете. Я умею прятаться. Я не знаю, почему меня никто не засек днем. Лицо у меня выразительное. В школе говорили, что я писанный красавец. Но я много недель безвылазно жил в Макдоналдсе, и никто меня не засек. Наверно, потому,

что я у них ничего не покупал. Хотя лицо у меня выразительное. Теперь вы уничтожили мой дом. Но я благодарен вам, хотя другого дома у меня нет. И я хочу быть с вами.

– Ступай себе, Петя, – сказала Таисия. – Ты хороший человек и философ почище нашего, но мы не прячемся от жизни в туалете. Мы ждем, пока она придет и надает нам по шее.

– Я хочу быть как вы, понимаете! – вскричал Петя – Хочу переступить черту. Вот, например, идея: добыть наручников, ходить по улицам и приковывать плохих людей друг к другу. Чтобы сразу было видно. Или, наоборот, приковывать хороших. А можно не друг к другу, а к столбам, к велосипедам.

– Прекрасная идея, Петя. Прощай.

4. Пандоплев рвал бумагу. Начальство требовало исправить все и угрожало снять звезду. Город распадался. На севере работала банда больных, которые сдирали намордники с белых собак. На юге возник маньяк, он целовал маленьких девочек в висок и отпускал их с миром. И по всему городу небоскребы, бутерброд и елка грабили кафе и магазины. Мир как-то неприятно изменился, был тревожен, люди плотно срослись с какой-то другой реальностью, миру было не до Пандоплева. Пандоплев хотел бы грызть карандаши, рвать бумагу и вспоминать, как плохо с ним обходилась жизнь. Но надо было работать, и он стал быстро переставлять стулья и звонить по телефону, рябь какая-то, а не человек.

5. Деньги, взятые в Макдоналдсе, они потратили на новый холодильник, полный мороженных ягод, а большую часть отдали в детский сад от имени выдуманного миллионера и мецената Трансвалерия Гречко.

– Что-то имя у него нехорошее – сказал Энди Свищ. – Не кажется настоящим.

– На себя посмотри, – сказала Таисия. – К делу, товарищи. Наша следующая цель – районная администрация. Там денег нет, но это будет акция утешения.

Зацовой вдруг начал пританцовывать. Он почувствовал аномальную и удивительную тяжесть пистолета. Он вспомнил фильм про сварщика, которому дали по голове, и тот перестал быть сварщиком и завел пса. Там было много музыки, и Зацовой стал под нее танцевать. Глядя на него, стали танцевать и остальные. Без лишних и резких движений. Просто уютно двигаться в такт.

6. Однажды Пандоплев опять закричал. В городе появился молодой мужчина, который приковывал людей к людям. Он делал это незаметно, умело и так страшно, что Пандоплев кричал. Мужчину с наручниками все видели, но никто не запоминал в лицо. Пандоплев кричал, и рвал бумагу, и вспоминал, как в детском саду началась эпидемия поноса. И началась с него, с Пандоплева. А теперь он должен остановить разгул непонятно чего в городе. Один, совсем один против непонятно чего. Пандоплев кричал, пока какой-то очень неприятный человек не принес ему некоторые тексты и кое-какие изображения, тогда он сел, встал, походил, успокоился, почесал шрам и даже потребовал карандашей взамен уничтоженных.

7. Однажды настал вечер и вновь открылся бар «Три козы».

– Одиночество! – сказал бармен. – Я спец по одиночеству. Я писал о нем диплом. Все было другим. А теперь я разделяю с вами ваше одиночество. Практически. Водки?

– Конечно, – сказал Зацовой.

– Я наливаю водку в рюмки. Мою рюмки водой. Протираю рюмки тряпкой и наливаю в них водку. Я был бы робот и конченный человек, но действия мои полны смысла, потому что пропитаны вашим одиночеством. А вы чем занимаетесь?

– Грабим бесов в компании ангелов.

– Как это?

– Это как шутка. Мы вроде как занимаемся социальной работой. Впрочем, не имея о ней никакого представления.

– Так стоит ли?

– Эх, бармен! – сказал Энди Свиц и выпил еще. – В этом беда бывшей русской интеллигенции, растворенной средь нас, как сахар в моче. Много лет уламывать телку, а когда пришла пора брать ее за титьки и вдарить рок, вдруг завести разговор о рисунке на обоях. Да какой там рисунок, хоть птичка, хоть бабочка. Телка в руках, бери и дери!

– Ваша метафора ясна, – сказал бармен. – Я не обижен. Но и согласиться не могу. Что будет, если я смешаю коктейль вслепую? Это моя работа – иметь ясное представление о водке и не закрывать глаза на апельсиновый сок.

– Вот потому-то вы бармен. А мы тут пьяные крутимся на стульях, и скоро нас тут не будет.

– Я расскажу вам притчу, – сказал Зацовер. – Впрочем, нет, я не расскажу вам притчу. Я тоже пьяный.

– Ничего. Водки?

– Спасибо за разговор, – сказала Таисия. – Я не уверена, что мы все что-то поняли. Но нам было радостно, и святой этанол обязует нас улыбаться без конца. А теперь будьте добры – руки вверх. И скажите, где деньги. Ничего личного. Это наша работа.

Глава пятая

1. Однажды все остались одни.

2. Они легли рядом, на пустую землю. Небо было в дырах облаков, за рощей валялась дорога.

– Я тебе прочитаю два письма, – сказала Таисия. – Я их выучила наизусть. Не специально. Моему мальчику было шестнадцать, а мне не помню сколько, я уехала куда-то, а он остался где-то тут.

Милый. Меня любят. Я нашла свою тусовку. Сегодня была в семи разных кабаках. Я почти уже совсем взрослая. Социализировавшаяся, как ты говоришь. Или вроде того. Красивая. Откупалась, отболелась. Прочитала и перечитала книгу того придурка. Пристрастилась к кофе. И это правда важное. А самое важное не скажу, потому что не могу. И очень важное не скажу, потому что это лично. И вообще ничего не могу рассказать сейчас, потому что только что основательно полечилась абсентом. Основательнейше.

Милая Тася. Я был в больнице и я все знаю про трупы. Сначала они просто люди, только мертвые. Потом их кладут в формалин (для обеззараживания и предотвращения гниения). Труп, как и любая хорошая вещь, должен вылежаться. Лежат они в формалине какое-то время, недели две в среднем. Далее приходят студенты, достают их из ванны и все забрызгивают. Следующий этап – препаровка: с трупа снимают кожу, местами мышцы удаляют, обнажая другие мышцы, нервы, сосуды, органы. В таком виде труп пребывает некоторое время, пока его не измочалят совсем, и тогда его разбирают на отдельные органы (отдельно мозг, печень, селезенка). Из того, что осталось, вытаскивают кости. Может, я что и упустил, но в целом так. А всякие ошметки (сломанные кости, жир, кожа, связки) выкидываются в пластиковые мешки и больше их никто не видит.

– И что было дальше? – спросил Зацовер и сжал зубы, потому что кровь всегда кровь.

– Его сбила машина, и он лег поперек вон той дороги, совсем как труп из своего письма. А меня однажды поймали веселые ребята, от них пахло компотом и голубцами, и я еле от них вырвалась, точнее, не вырвалась я от них, не вырвалась.

3. Однажды все остались одни. Зацовер сел у окна и почувствовал, что прошлое шевелит им, как нога пальцами. Подошел Энди, очень тепло улыбнулся и сел рядом. Зацовер впервые рассмотрел его лицо в деталях – совсем дебильное, непропорциональное, но очень живое, как будто хорошо знакомый человек привиделся во сне, но имени не вспомнишь.

– Что ты? – спросил Зацовер.

– Как твой роман? – спросил Энди.

– Да... – сказал Зацовер, – потом напишу.

– Никогда не откладывай романы, брат. Это как отодрать подружку в черном дырчатом белье, с хрустальным Дональдом Даком на шее, понимаешь, отодрать эту красотку – после завтра. Роман ждать не будет, свалит к другому мужику, с болтом повеселеет.

– А твой роман?

– А я тебе сейчас прочитаю! Тут как бы про нас немного, а буквы я вписал от руки.

Они вошли в бар. Толстый Спарки достал армейский нож с коричневыми пятнами и показал бармену. Бадди сплюнул. Бармен понял, что игра окончена, и выдохнул:

– Гуляете, ребята! Ну, гуляйте.

– Ты как солнце, как луна, – сказал Зацовер. – Изменчив, но неизменен.

– Знаешь, как это было? – сказал Энди, – Я понял, что я бездарный бездельник. Что ничего не было и не будет. Я потратил жизнь на автобусные билетки. Пока все зарабатывали шиши и умирали от рака, я притворялся великим русским писателем. Я понял это, закурил, сел на кухне и включил телевизор, просто чтобы что-то сделать. Всплыл ухоженный мужчина и сказал, что Штаты – дрянь. Он сказал – «стратегический партнер», но по ухмылке было понятно. Потом показали попа, мента и президента, играющего с другим президентом в бильярд. Все было обычно и ежедневно, но я хорошо помню каждый жест. Я сидел, смотрел на этих довольно убогих угнетателей, я даже засмеялся разок – меня тогда звали иначе, но дураком я был точно таким же.

– И что же?

– А потом я решил – а ну все в печь! Я хочу писать и буду. Хочу и буду. Потому что в мире должно быть место для людей, которые хотят и будут, хотят быть счастливыми и будут ими. Какую-то непристойность я сейчас сказал. Ну да ты тоже писатель, поймешь.

4. Однажды все остались совсем одни, вообще ни души. Энди Свищ торчал в туалете и придумывал роман про Спарки и Бадди. Таисия надела самое красивое платье, расписанное нездешними треугольниками, и пошла в магазин за водкой. Зацовер открыл форточку, нюхал ветер и думал разные вещи. Он крутил на изнанке век самое любимое кино и плакал, когда героям становилось плохо. Потом по векам шли титры и конец. Зацовер вспомнил, как умерла жена, и очень долго вспоминал это, вспоминал и вспоминал, и превращал в кинофильм, в монтаж, в оркестр, в титры и конец, и что-то в нем освобождалось.

Но загремела дверь, в нее бились какие-то непонятные люди, а потом они как-то попали внутрь всего – Зацовер увидел, как из реальности торчат растрепанные доски, похожие на буквы – люди в черных вонючих носках на лице положили его губами в пол, несильно ударили по голове и закрыли форточку.

– Идите в ад! У нас сортир на одного! – кричал на заднем плане Энди Свищ, а потом вломились и к нему.

5. Однажды несколько людей окружили человека, а тот был связан.

– Подпишите этот текст.

– И чего? Мы будем свободны?

– Вы сможете уйти. А ваш друг сможет остаться.

Энди прочитал. Он долго читал и стал серьезен.

– Тут много неподходящих букв, – сказал Энди. – Знаете, ребята, это главная беда: много неподходящих букв.

Упала пауза, и, пока молчали, Энди медленно опускал и поднимал ресницы.

– Подождите немного. Надо собраться с мыслями. Можно жахнуть чего-нибудь? Может, музыку включите? Какой-нибудь рок.

– Здесь не филармония.

Энди улыбнулся и откинул голову.

– Жаль. Я хотел, чтобы было немного иначе. Ну что ж. Отвяжите мне правую руку.

Энди кашлянул, размял кисть, оттопырил средний палец и медленно, с удовольствием произнес:

– Хуй соси, сатана, моя душа подороже!

6. Однажды в комнате было только одно окно, заколоченное досками.

У окна стоял чин.

– Вы надолго сядете или совсем умрете, мужчина, – сказал чин.

– Все может быть, гражданин начальник, – сказал небоскреб с человеческими глазами.

– Я вам не начальник.

– Кто же вы?

– Так... человек.

– Гражданин человек, я бы поспал.

– Дерьмо. Я принес кое-что. Читайте.

Небоскреб с человеческими глазами взял и начал.

Когда у Зацовера умерла жена, он пошел по улице.

– Ага, – сказал он. – Ага. Скоро лето. В белых и золотых тряпках девушки побегут. Голые ноги, голые животы. Могу теперь трогать животы. Могу быть заново, со второй попытки счастлив.

Зацвер ударился о здание, по большим глазам потекла кровь.

– Хватит, – сказал чин, – это стихи. И вещественное доказательство.

– Это никак не стихи. Вы ничего не знаете. Это моя жизнь, гражданин человек. Наверно, я совсем обесмыслил, из раза в раз рассказывая историю своей жизни, но я не вижу, чтоб какая-то другая история имела хоть корку смысла.

– Хватит.

– Да я уже закончил, спасибо, – сказал небоскреб с человеческими глазами. После этого его снова стали называть Зацвером. – Все хотел упомянуть, что один мальчик любит одну девочку, да не вышло. Запротоколируйте.

7. Красная белка села в какую-то машину, ударила кулаком в руль и включила музыку. Сумасшедшие пели очень тонкими голосами. Мотор гудел, в багажнике болтался чемодан денег, мимо двигались палки и полоски.

– Ну ладно, суки! – сказала красная белка. – Не конец.

Красная белка ехала далеко, от нее пахло водкой, машина виляла, позади был город, в котором ничего не осталось живого.

8. – Здравствуй, дядька Витька, – сказала Таисия, поклонилась в пояс пустому кинозалу и заплакала. – Я дура, дура, дура, вылезай. Какой из меня ангел. Какая из меня белка. Какая из меня женская роль второго плана.

Зал молчал. Вполсилы трещали лампы. Таисия поставила чемодан и села рядом.

– Я посижу тут у тебя. Сто лет буду сидеть, пока не вылезешь. Ничего не выходит. Все какой-то набросок. Все чушь и бардак.

Зал молчал.

– Значит, так. Я расскажу тебе, как дальше, и если смолчишь, значит, так и будет. А остановишь мне язык, так упаду и покаюсь. Значит, так. В городе все клали новые дороги поверх старых. Впрочем, на севере работала банда больных, которые сдирали намордники с белых собак. На юге возник маньяк, он целовал маленьких девочек в висок и отпускал их с миром. В магазинах хозтоваров кончились наручники. В пруду нашли тело человека в истлевшем мундире, со следами балалайки на голове. Я все правильно поняла?

Зал молчал.

– А дальше напролом, – сказала Таисия. Поклонилась, перекрестилась, красиво нагнулась за чемоданом и пошла.

9. Не, не конец.

Красные белые

Наши с Татой прадеды зарезали друг друга за холмом, за холмом, где кончается земля. Татиного прадеда, наверно, закопали целиком, а моего не целиком, а кое-как.

Ее был за белых, мой за красных, патроны кончились, ну вот и все, примерно так, нож в ухо.

Воевали годы, без новостей, дул этот топтанный ветер, шел этот топтанный дождь, и приносили мертвых иногда.

Тем летом у белых не ели людей: поспели ягоды. А у нас тогда голодали, и прадеда – в суп. Пришел комиссар, надавал подзатыльников:

– Картошку – пополам. Или будет вариться вечность.

Это дед мой видел сам. Видел, как варили похоронник. Я и сам его умею, с курицей, конечно. В хороший похоронник добавляют бузины. Хороший похоронник варят с песней про победу. Про нашу, конечно.

Наутро прадедов проводили. Когда в поединке нет победителей, мы миримся на день и хороним рядом.

Дед тогда впервые видел белых. Убив красного, белый вышивает листик на мундире. Генерал их был как роща. Убив белого, красный вышивает звездочку. Комиссар наш был как небо.

На могиле прадеда поставили рожок: чтоб ветер дул. На могиле его врага бросили барабан: чтоб дождь бил.

Мы с Татой так и встретились, на соседних могилах. Я к своему пришел, она к своему, послушать музыку. Но барабан истлел, рожок украл, цветмет же.

Стояли незнакомые. Не знаю, как она, а я все думал, зачем воевали. Дед говорил так: белые были, чтоб было как было. Красные были, чтоб было как не было. Я за красных, конечно.

Звать ее, сказала, Татой, как пулю из пулемета. «Тата, нет ли выпить?» – спросил я, а Тата спросила, что бы я хотел на своей могиле.

– Пусть посадят рябину и положат камень. А на камне высекут «эти ягоды можно рвать».

– Рябину? Горькая.

– Облепиху.

– Колючая.

– Кизил.

– Капризный.

– Вишню.

– Черешню.

– Вишню.

– Иргу.

– Я люблю вишню.

– Но ты будешь мертв. Извини, конечно.

Вот раньше была работа: выковыривать мох из букв, драть лишайник с крестов, стричь кусты на холмиках. Теперь все заросло совсем. Кладбища становятся лесами, если их не подкармливать.

– Вот война и кончилась.

Или что-то вроде этого кто-то из нас сказал.

Дед мой жив и все знает, но ничего не видит: белые сожгли его глаза. Показал ему Тату, ноздри у него вздулись и остались так. Тата почуяла и вздрогнула.

– Нет, – сказал дед, – женщин мы не убиваем. Или некому будет смеяться на наших похоронах. Дай сюда лицо. Никогда не трогал белой.

Наши с Татой правнуки тоже друг друга зарежут. Это правильно. Войну так просто не того. Не кончить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.